

Благодарение мудрой природе: личного бессмертия нет, и все мы неизбежно исчезнем, чтобы дать на земле место людям сильнее, красивее, честнее нас, — людям, которые создадут новую, прекрасную, яркую жизнь и, может быть, чудесною силою соединённых воль победят смерть. Радостный привет людям будущего!

Максим Горький

Вместо пролога

Дороги, дороги... Они зовут нас вперёд, они уводят назад. Кто-то так стремится на запад, что оказывается далеко на востоке. Правое гордо именуется себя левым. Борьба со вчерашним днём приводит водителя в день позавчерашний. Из-за всей этой путаницы иные мудрецы и вовсе говорят, что и нет никакого движения, что нет ни завтра, ни вчера, ни ближе, ни дальше, что есть только вечное возвращение или незыблемое равновесие, единая мера и одно измерение.

Часть 1

Короче, он решил ехать. В Питер. А что? Все ведь едут. А те, кто не едет, без конца говорят о том, как они собираются уехать. По крайней мере, среди его знакомых. Иногда они возвращаются, и от них исходит мистический свет: они побывали там, они вдохнули тот воздух и навеки возвысились над толпой безликих провинциалов.

Те, у кого родители побогаче, едут прямо в Европу или США. Но это он считал предательством родины. А в том, чтобы переместиться из провинции в Санкт-Петербург, ничего непатриотичного нет. Даже наоборот: ведь истинная Россия где? Вообще, что такое истинная Россия? На этот вопрос он давно себе ответил.

Вопрос о России вставал перед ним непрерывно на протяжении многих лет — в виде скинхедов, которые горланили: «Слава России!» — на рок-концертах, а потом подкарауливали и били «воло-сатых» на выходе или в туалете; в виде нацистских газеток, которые подсовывал ему студент-историк; в виде пьяных гопников, почему-то именно ему желавших отомстить за смерть русских солдат в Чечне.

Для себя он решил: Россия — это русская культура. Стало быть, Россия — там, где в данный момент

читают Достоевского и слушают Чайковского. И уж, конечно, в Питере этим занимаются куда чаще, чем в его городе. В его городе знаменитые писатели останавливались лишь пару раз, да и то проездом. На некоторых домах висят мемориальные доски, но на них значатся имена ненавистных упырей-революционеров или каких-нибудь купцов местного значения. Никаких тебе Достоевских или хотя бы Высоцких. Правда, ходила легенда, что Высоцкий однажды был в их городе и даже исполнил несколько песен для горожан с какого-то гаража. Но из гаража, который даже и не сохранился, легенду себе не сделаешь. Местные церкви тоже ничем не прославились. Хотя в один из храмов, кажется, заходил царь, в честь чего кресты были украшены золочёными коронами, но и это не особенно вдохновляло.

Другое дело — Питер. Этот город является средоточием не только старинной, классической, но и современной культуры. Это город Гоголя и Гребенщикова, Достоевского и Шевчука... Причём если тебя больше интересуют Гоголь и Достоевский, то ты валишь в Санкт-Петербург, а если Гребенщиков с Шевчуком — то в Питер. Аркаша, конечно, собирался в Питер. Перед писателями прошлых веков он преклонялся в школе, сейчас же в его сердце царствовали русские рокеры. Когда Егор Летов ревел: «Лишь рок заставляет меня оставаться живым и открытая дверь», — или БГ нашёптывал: «Пограничный господь стучится мне в дверь, звеня бороды своей льдом», — казалось, что они знают нечто такое, недоступное обычным людям, какую-то тайну жизни и смерти, способную сделать его, обычного смертного Аркашу Сухорекова, бессмертным. Сколько таинственности, сколько божественной отстранённости было в этих эстрадных идолах, пророках с электрогитарами. А Аркаше как раз нужен был такой всезнающий гуру, чтобы выпутаться из западни, в которую он попал.

Да, он чувствовал себя в ловушке. Эта ловушка состояла из его окружения, из обстоятельств, из его города и из всех людей, населяющих этот город, а может, и вообще из всего, что есть на свете. Аркаша чувствовал, что задыхается, что он чужой во всех местах, в которых он бывал, в которых работал, чужой со всеми знакомыми

ему людьми, что есть в нём что-то, не находящее применения и выхода, какая-то птица, которая не смогла вовремя вырваться на волю, задохнулась в нём и теперь гниёт.

В свободное время он кружил по улицам города, словно искал что-то и никак не мог найти. Во всех разговорах со знакомыми он неизменно сворачивал на споры о смысле жизни, но знакомые либо, разинув рот, слушали его разглагольствования о смерти и о Боге, либо противопоставляли его философской казуистике что-то мелкое, приземлённое. Друзья в лучшем случае мечтали о славе поп-певцов, в худшем — вообще ни к чему не стремились и не заглядывали дальше послезавтра. Да и вообще все амбициозные люди уезжали из города в тот же Питер или в Москву. В Москву — за деньгами, в Питер — за богемной жизнью. А те, кого Аркаша видел вокруг, вызывали в нём жалость или презрение.

Жалость вызывали глуповатые, добрые, придавленные жизнью, которые просто вечно боролись с обстоятельствами, никому не делали и не желали зла, наслаждались своими маленькими радостями и удачами.

К нему относился, например, металлист Назаретх (так он произносил название любимой группы). Сутулый, шаркающий стоптанными башмаками, с отвисшими на задку джинсами и в мешковатой куртке, он был фанатом местных метал-групп, таскался к ним на репетиции и в качестве единственного слушателя тряс под их инструментальный долбёж копной нечёсанных и немытых курчавых волос. Он быстро надоедал, поскольку не был горазд на пьяные выходки и собеседником был никчёмным, вообще говорил, сильно заикаясь, и тогда его выгоняли. Он не спорил, только хлопал своими воловьими глазами с загибающимися ресницами и уходил, а через некоторое время появлялся на репетиции у другой метал-группы. В принципе, провинциальные музыкальные команды не существуют дольше трёх лет. По истечении этого срока группа либо уезжает и бесследно исчезает в столицах, либо обзаводится семьями и распадается. Появляются новые группы с молодыми и самоуверенными участниками, которые играют точно такой же долбёж, как и все предыдущие. И снова у них на репетициях сутулый, преданный Назаретх. Кстати, говорили, что он работает на каком-то заводе и вроде бы даже получает неплохие деньги, которые тратит на лечение больной матери. Эх, достоевщина...

Были вокруг и ловкие, успешные ребята, такие, которые всегда носят рубашки и пиджаки и шутят по любому поводу. Пошутят там, пошутят здесь, глядишь — а они уже помощники депутата в местной администрации. Вот их Аркаша презирал. Хотя и пришибленные добрячки вроде Назаретха вызывали в нём брезгливость.

Эти два типа — добренькие лузеры и успешные ловкачи — являли собой противоположные концы одной оси, между которыми, как бусы, были нанизаны все, кого знал Аркаша. Даже девчонки.

Было дело, Аркаша увлёкся девушкой из церковного хора. Он познакомился с ней в православном молодёжном клубе, приходил на церковную службу слушать её пение, провожал, читал стихи... И в тот момент, когда она первый раз склонила голову ему на плечо, он с ужасом убедился, что в её жизни нет ничего, что эта жизнь бесцветна, холодна и дурно пахнет. Люди представлялись ему дверями, за которыми скрывались некие помещения — их жизни. Вот так, познакомившись с церковной певчей, он словно был заглянул в тёмный сарай: родители её были бедны и неласковы, книг она не читала, ничем, кроме религии, не интересовалась. Но в тот самый момент, когда она положила голову ему, Аркаше, на плечо, он вдруг понял, что религия ей нужна лишь как подпорка в унылой жизни и что она с радостью избавится от этой подпорки и обопрётся на Аркашу, на их совместный быт. Он, конечно, мог бы поделиться с ней всем тем, чем был наполнен сам: приучить к своей любимой музыке, заставить прочесть кое-какие книги, но... вылепил бы собственное зеркало, к тому же ещё и кривое. Скучно. И страшно. О, это ужасное чувство, когда на твоё плечо ложится голова девушки!

Впрочем, может быть, он из стыда стучал краски и сбежал от той девчонки потому, что, прознав о ней, его снова поманила к себе Соня, любви которой он безнадежно добивался вот уже несколько лет. Сонечка была с ним холодна и капризна, но как только он исчез с горизонта, вдруг стала писать жалостливые эсэмэски и звать в гости. А уж впервые испытав прикосновение Сонечкиных горячих, вечно чуть обветренных губ, он на следующий же день разорвал не успевший начаться роман с хористкой. Он понимал, как ранил этим влюблённую девочку, но серьёзное чувство к ней в нём так и не пробудилось, зато с неожиданной силой зажглась прежняя страсть к Сонечке.

Сонечка была совсем другой. Она не собиралась ничем жертвовать, она знала себе цену. Даже более того: эта цена постепенно неуклонно росла. Сонечка читала книги — фантастику религиозно-философского содержания: Толкиена, Льюиса, Честертона, Булгакова, Шмелёва; закончила музыкальную школу по классу фортепиано, также недурно играла на гитаре, сочиняла стихи и песни, просто музыку, рисовала мультики на компьютере — короче, развивала в себе различные таланты, любила танцевать и наряжаться в длинные платья и вообще тянулась ко всему изысканному и изящному. Родственники обожали её и заботились о ней. Получалось, что она может не только развлечь себя сама, но и украсить, может

быть, даже усложнить и запутать жизнь того, кто будет рядом. Она была бы в состоянии понять не только самые сложные Аркашины идеи, но и нахваться где-нибудь иных, ещё более бредовых идей. Она рассказывала ему то про музыку сфер, то про нотные шифрограммы Баха. Пожалуй, ей даже и не нужно было Аркашиных идей, ей было довольно собственных, она упивалась, любовалась собой. И Аркаша почувствовал, что его мягко подталкивают к роли той же невзрачной девочки-хористки, которая своей пустой душой, как губкой, всасывает чужие идеи. Но его душа уже была переполнена! Он сопротивлялся, становился капризным, обидчивым, терял уверенность и обаяние, пробовал увлечься другими девушками. Ничего не выходило: Сонечка сидела в его сердце, как заноза.

Да, пора было валить, спастись бегством от любовных вавилонов, которые он успел тут нагородить.

Покидать рабочие места было не жалко, с ними получалось как с девушками: их было много, и нигде не получалось ничего серьёзного. По полставки в пресс-службах двух учреждений культуры да спецкурс в одной гимназии — разве можно это сравнить с делом Пелевина или Высоцкого? Но Пелевины и Высоцкие бывают только в столицах. Ничего не поделаешь, надо ехать. Все едут или говорят о том, как уедут.

Надо только порвать нити обязательств, отпроситься или уволиться с работы, раздобыть откуда-нибудь много-много-много-много-много денег на три дня в поезде или изыскать какой-то иной способ путешествия и — туда, где нас нет! Ну, не сию минуту, конечно: сперва хорошо бы излечить свой вечный насморк, помочь родителям выкопать картошку, отдать и собрать долги.

Да, он немного иронизировал над собой и над своими мечтами, но в глубине души всё равно надеялся. Надеялся, и всё тут. А как же иначе? Не для того ли телеэфир был заполнен фильмами и передачами о людях, которые пробили себе дорогу из самых низов? Главное — верить в себя и в свои силы, и тогда у тебя всё получится! «Вся жизнь впереди — надейся и жди», — повторяли на разные лады новые герои нового мира. Только место доброй феи занял рынок. Про Билла Гейтса рассказывали, что он первым додумался создать операционную систему для домашних компьютеров, когда никто и представить себе не мог домашнего компьютера, Стив Джобс якобы первый догадался тыкать пальцем в экран, и рынок обдал их золотым дождём. Русские рокеры, несмотря на суровые советские времена, сидели в подвалах и пели свои запрещённые песни. И так истово повторяли они: «У-у-у, транквилизатор...» — что рухнула тоталитарная безбожная империя, и в трещины железного занавеса хлынул всё тот же золотой дождь

свободы и вознёс рокеров на вершины успеха и славы. И разогнули спины интеллигенты, и ударили в колокола новоявленные попы, и диссиденты вынули из карманов свои фиги и радостно подняли их к солнцу, и режиссёры наконец показали по телевизору сиски, и писатели наконец стали писать с матом и про Бога. В общем, наступил полнейший духовный ренессанс.

Но важно учесть, что петь про транквилизатор надо обязательно в одной из столиц. Шевчук просиял только после того, как перебрался из Уфы в Питер, то же самое и с Башлачёвым, и с Суриковым, и с Ломоносовым. Пожалуй, один только Егор Летов сумел пробиться, не вылезая из Сибири... Короче, в Москву, в Москву! Точнее, в Питер, в Питер!

Первым делом предстояло решить две главные задачи: жильё и работа. Во-первых, ещё не объявляя широко о своём намерении, он стал активнее переписываться со знакомыми рокерами, которые уехали в Питер чуть ранее. Нужно было ненавязчиво выяснить их квартирные условия и подтвердить благодаря общению свой дружеский статус, чтобы не стыдно было попроситься пожить у них несколько первых дней. Ценную помощь неожиданно оказала мама. Оказывается, в Питере жил один знакомый её детства. Она написала ему, и тот вроде как обещал оказать содействие с жильём.

Ох, жильё, жильё... В этом плане Аркаша не так уж много терял, покидая родимый город. Он делил двухкомнатную секционку со своей сестрой, её мужем и новорождённой дочерью. Отношения с сестрой и раньше были неважные, а на почве квартирного вопроса они испортились окончательно. Общий коридор и санузел вечно становились полем битвы. Кто на какой крючок повесил одежду, кто как долго моется и как громко испражняется — поводом к перепалке могло послужить всё что угодно. Каждое утро начиналось с того, что собирающийся на работу зять оглушительно харкал в раковину. Он знал, что Аркаше это неприятно (Аркаша сам неоднократно говорил об этом), но отговаривался тем, что у него пыльная работа и больное горло. Он вообще любил пожаловаться, всякая работа ему была непосильно тяжела, так что он работал лишь время от времени, большую же часть года проводил дома за компьютером, сражаясь с виртуальными монстрами. Перегородка между комнатами была тоненькая, так что был различим даже стук клавиатуры. Зять был толстый, весь заросший чёрным волосом; Аркаша вообще удивлялся, как в их комнатухе ещё оставалось место для его сестры и племянницы. Сестра и правда ходила постоянно какая-то пришибленная. Зачем же эта вечная отличница, прочитавшая немало умных книжек, вышла замуж за бесформенное волосатое животное, не развитое ни интеллектуально, ни морально, ни физически?

Как они планируют воспитывать появившееся у них крохотное существо? Постоянные раздумья о жуткой бессмыслице жизни людей за стенкой мешали Аркаше сосредоточиться, ему хотелось возвыситься или, по крайней мере, оторваться от того, что они воплощали, ему было страшно, что вот в такую же безысходность упрётся и его собственная жизнь, что через стенку к нему прочитается апатия и проникнет в мозг. И это тоже прибавляло очков в пользу отъезда.

Проблема работы распалась на две задачи: более сложную — отыскать вакансию на новом месте, и более простую — уволиться с текущих мест работы. Что и говорить, увольняться по собственному желанию (то есть действительно по собственному желанию, а не с такой формулировкой под давлением работодателя) — это одно из величайших и возвышеннейших наслаждений в современном мире. Чувство свободы, когда ты идёшь по коридору уже не как служащий, а как частное лицо, переполняет; выходишь на улицу, а там в любом случае — хорошая погода. Да, Аркаше было приятно сообщать о своём отъезде и видеть огорчение на лицах добрых директрис гимназии, детской библиотеки и Дома творческих союзов; приятно было на вопрос о причине ухода говорить с апломбом: «Вот, в Петербург собрался». А они в ответ кивали с пониманием: конечно, все молодые и перспективные уезжают в столицу, нашими зарплатами их не прельстишь. Приятно было рвать корни.

А вот поиск новой работы не приносил такого удовлетворения и вообще проходил совсем не так гладко. Вакансий в культурной столице было много, но все они были разбросаны по разным сайтам, так что приходилось регистрироваться на них и писать там резюме; более того, большинство работодателей требовали выполнения конкурсных заданий, ссылок на странички кандидата в соцсетях. Аркаша чувствовал себя конём на ярмарке, которому каждый норовит заглянуть и в зубы, и под хвост. Работодатели были исполнены важности и высокомерия, а Аркаша, хотя ещё не получил от них ни копейки, был обязан заискивать и писать подобострастные сопроводительные письма.

За неделю ему удалось лишь нащупать неполную занятость в одной школе-интернате. Больше ничего. От сайтов, вакансий и версий собственного резюме у него уже голова шла кругом и даже слегка подташнивало.

Итак, работа никак не находилась, перспективы терялись в тумане, но мосты были уже сожжены. Он назначил Сонечке встречу, чтобы в очередной раз окончательно всё решить. Сонечка великодушно согласилась. Может быть, в глубине души он надеялся, что она попросит его остаться, и тогда поездку можно будет отменить. Ну а нет так

нет — тем более невыносим и ненавистен станет ему его провинциальный город, в котором нет ни одного Шевчука или хотя бы половинки Гребенщикова и в котором никто не в состоянии оценить его тонкую и таинственную поэтическую душу.

Однако не в добрый час задумал он паковать чемоданы. Всё это происходило летом 2008 года. Аркаша не знал, что этот год запомнится людям как первая волна мирового экономического кризиса. Да и откуда ему было это знать? Открывал новостные сайты в Интернете он со смесью растерянности и брезгливости. Мировой хаос обрушивался на него всей своей запутанностью, а главное — грязью. Эпизоды кровавых войн перемежались сообщениями о сексуальных скандалах из жизни поп-звёзд, за историей о массовой голодовке на заводе следовал рассказ о котёнке на дереве. И всё это тонуло в цифрах — статистических показателях, процентах, датах и, конечно же, деньгах, деньгах, деньгах...

Между тем и сама его жизнь начинала потихоньку теряться в этом хаосе: всё становилось зыбким, почва под ногами понемногу таяла, расплывалась, вот уже он нигде не работает, никаких далеко идущих планов... Единственной моральной опорой в эти дни для него стали статьи и лекции любимого православного проповедника.

Однажды сердце ожигает мысль: «зачем я тут? Что такое человек? Что такое моя жизнь? Просто тире между двумя датами на могильном памятнике? А человек — просто покойник в отпуске? Меня не было целую вечность и потом не будет тоже вечность. И вот из этой тьмы меня отпустили на побывку. В этом ли смысл моей жизни? Это ли „всё, что останется после меня“?». И тогда понимаешь: моя биография не сводится к истории моего тела, то есть в конце концов к истории моей болезни — от первого зуба до последнего инфаркта.

Так говорил проповедник на рок-концерте в перерыве между выходами рок-групп, и Аркаша, глядя видеозапись этого выступления в Интернете, с лёгкостью решал загадки проповедника, ведь отгадку священник носил на своём пухлом животе. Бог — ответ, который религия даёт на все вопросы. Если человек не навсегда, то он не имеет смысла. Значит, зачем я здесь? Затем, чтобы отыскать бессмертие. Жизнь коротка, счётчик запущен — если не успеешь спастись, то сгниёшь в могиле. Единственный, кто может дать человеку бессмертие, это Бог... Если Он существует. А если нет? Неужели тогда в жизни человека нет никакого смысла?

Разобраться в этом всё Аркаша тоже намеревался в столице. Там — старинные величественные храмы, там самые преосвященные священники, там самые боговдохновенные рокеры. Они помогут Аркаше подобрать отмычку от райских врат,

ну, или, как пел Цой: «Если к дверям не подходят ключи — высади двери плечом». Рокеры постоянно пели о Боге, пели так, как будто не просто были абсолютно уверены в Его существовании, но будто Он жил в соседней квартире и порой к ним за солью приходил.

Загадочным, непонятым исключением среди них был Егор Летов, так и не перебравшийся, несмотря на свою бешеную популярность, ни в одну из столиц, затворничавший в своём холодном Омске. «Замедленный шок, канавы с водой, бетонные стены, сырая земля, железные окна, электрический свет, заплесневший звук, расклеванный асфальт...» — стонал Летов, явно наблюдая данный пейзаж из собственного окна или во время уединённых прогулок, однако, несмотря на окружавшее его уныние, отказывался расстаться со своей малой родиной. Казалось, он ближе всех подошёл к черте потусторонних миров... И вот уже несколько месяцев, как он умер. Ничья смерть не производила ещё на Аркашу такого сильного впечатления, ни одну утрату он не воспринимал так лично. Бабушка и дедушка по маминной линии скончались на другом конце страны, а Летов жил много лет рядом с Аркашей внутри магнитофона, рассказывал свои страшные сказки и цветные сны...

Теперь его не стало, а значит, единственный человек в мире, кто привязывал его к российской провинции, кто мог изменить маршрут «периферия — Питер — царство Божье», — это была Сонечка. Когда Аркаша смотрел в пропасть её чёрных глаз, ему казалось, что от Сонечкиных объятий дорая путь ещё короче. И если даже за Сонечкину любовь пришлось бы заплатить путешествием в ад, а то и полным исчезновением, Аркаша был согласен и на такой расклад. Однако шансы на завоевание Сонечкиного сердца в последние полгода всё уменьшались.

Есть в отношениях с девушкой такой момент, когда ты начинаешь ей писать и звонить чаще, чем она тебе. Ты спохватываешься, пытаешься поправить ситуацию, но ничего не получается: ты молчишь день, ожидая, что она сама даст о себе знать, — и она молчит день, молчишь другой — и она тоже. И всё это время тебя грызут сомнения: может быть, ты что-то не так сказал? чем-то обидел? Ищешь объяснений и оправданий для её поведения и для того, чтобы всё-таки написать, позвонить, зайти... Рука так и тянется к телефону. Не успеешь оглянуться, а уже сам отправил злощастное сообщение. Что-нибудь такое жалкое, шутивно-заискивающее. А в ответ тишина или что-нибудь односложное. Вы, конечно, ещё встретитесь (предлог всегда можно найти), но стоимость твоих акций упала на несколько пунктов... Да, отношения, которые знал Аркаша и которые знали все вокруг (за исключением только литературных

персонажей), — это был грубоватый и не сильно честный торг, слегка прикрытый романтикой, как салфетка в ресторане прикрывает поданный на подносе счёт.

В конце концов, из чего они состоят, эти отношения? Из подарков, из совместного хождения по магазинам, то есть из траты денег на бесполезную ерунду, из посещения кино, кафе, поездок куда-то (опять же не бесплатно). Причём стоимость подарков, уровень кафе, объём совместных покупок — всё это безжалостно и в лучшем случае бессознательно подсчитывалось, суммировалось, после чего подводился итог.

Сонечка влюбилась в него четырнадцатилетней девочкой, а теперь ей уже перевалило за двадцать, и она осознала, что свет клином на Аркаше не сошёлся и что ей ещё предстоит оценивать и выбирать.

Аркаша снова не сумел проявить выдержку — прибыл на свидание сильно заранее. Да и в чём смысл этой «выдержки» — в том, чтобы имитировать равнодушие, когда твоё сердце трепещет, как пёрышко на ветру? К чему превращать любовь в театр, если она — единственный шанс для человека стать чуть живее и естественнее?

Он назначил встречу в самом романтичном месте, какое знал. Кстати, оно и находилось неподалёку от Сонечкиного дома.

Уберега реки ещё в индустриальные советские времена была создана бухточка для ремонта кораблей; наверху насыпи, отделявшей бухточку от реки, посадили тополя и устроили аллею. Сейчас проход к аллее был перегороджен, и попасть сюда мог только тот, кто обладал лодкой или знал про дырку в заборе. Аркаша и Сонечка относились ко второй категории.

Сначала Аркаша миновал многоэтажку с очень узеньким двориком, потому что сразу за ним дорога резко уходила под откос — к реке. Он прошёл вприпрыжку по неровным растрескавшимся ступенькам, отыскал место, где прутья ограды были разогнуты каким-то неведомым силачом, и погрузился в разнотравье. Машины боялись ездить или парковаться здесь, поскольку берег имел свойство периодически осыпаться; чиновники тогда ещё не догадались осваивать бюджет на выкашивании травы — и зелень на берегу произрастала совершенно неподконтрольно: крапива и иные кусты поднимались выше пояса, деревья раскачивали непричёсанными гривами, всё дышало, шелестело вокруг, гасило рёв ближайшей автострады. Слева сверкала река, справа за кустами, переплетёнными с ветхой проволочной оградкой, как потусторонний мир, виднелась территория старого детского садика с его загадочными и чудесными строениями: верандочками в виде домиков, вросшими в землю качелями, сделанными из раскрашенных покрышек, или вырезанными из пней

фигурами сказочных персонажей. Сколько раз Аркаша ни проходил этой дорогой, территория садика всегда пустовала, словно время за оградой остановилось в момент сон-часа. Скорее всего, конечно, летом садик не работал.

Наконец он вышел на насыпь. Теперь справа тоже была вода, но не бойкая речная, а неподвижная и задумчивая вода бухты, в центре которой, как призрак, застыл ржавый остов катера. Высокие тополя протягивали друг другу руки с разных сторон аллеи, их объятия смыкались над Аркашиной головой. Ему хотелось верить, что это место обладает чудесной силой примирять сердца, что у корней этих тополей однажды будет зарыт топор вражды и отчуждения, невеста откуда возникших между ним и Сонечкой.

Он не умел медленно ходить, всегда двигался быстро, даже когда гулял, даже когда гулял с Сонечкой, и ей постоянно приходилось его осаживать. Вот и теперь, хотя Аркаша прибыл слишком рано, он шагал так, словно боялся куда-то опоздать, и очень скоро оказался в самом конце насыпи, на небольшой асфальтовой площадке. Теперь вода была с трёх сторон: слева, справа и впереди. Он оглянулся назад, на изогнутую дорожку. Из-за поворота, из-за ряда тополей должна была показаться Сонечка. Растрескавшийся асфальт был устлан листвой. Август перевалил за середину, и какой-нибудь лист нет-нет да и возвращался к корням с голубой высоты. Единственный дворник этого участка, ветер, иногда сметал часть листьев в реку, и они терялись среди солнечных бликов на поверхности воды. Аркаша поёжился. В последнее время он слишком часто стал думать о смерти. Мрачные мысли могли появиться по любому поводу: при звуках музыки уже умершего композитора, при воспоминании о своих родителях или при встрече с любым пожилым человеком. Ему хотелось чем-то ухватиться за жизнь, вцепиться в неё зубами, чтобы ничто не смогло разлучить его с небом, ветром, гаснущим огнём заката. Да Бог с ними, с большими и прекрасными вещами, если бы можно было сохранить от всей Вселенной хотя бы коробок спичек, или зубную боль, или только звук собственного имени, произносимого незнакомым голосом... Он отлично понимал, что с ним творится неладное, но не знал, чем себя исправить, где же тот святой отец, который усмирит его страхи, избавит от одиночества и приведёт к Богу. Обращаться к психологу он и не думал, и не только потому, что вообще с недоверием относился к науке, не хотел доверять свою душу тем, кто не верит в её существование, но и ещё потому, что образ психолога, в основном почерпнутый из американских фильмов, образ гладкого, респектабельного, самодовольного филистера с лошадиным оскалом и притворным сочувствием во взгляде вызывал в нём отвращение.

Если психология призывает превратиться в нечто подобное, причёсанное и гладко отполированное, то он бы предпочёл хранить свои страхи и свою тоску как величайшую ценность.

Иное дело священники! Собственно, образ мудрого гуру впервые явился ему в фильмах про кунг-фу: всезнающий учитель наставляет героя на путь добра и помогает победить внутренних демонов. За спиной у шаолиньского гуру стояла древняя традиция, а за спиной у американского психолога стоял торшер и висела пошлая фотография какого-нибудь курорта. Уже в девяностые отечественный кинематограф переработал китайского гуру в православного священника. Он появлялся в сюжете всего на несколько секунд и ближе к концу, когда герой уставал от борьбы и терял веру в собственные силы. Священник с мерлиновской бородою произносил несколько дежурных фраз, лил запредельный свет из глаз, и герой мигом преображался, обретал духовную силу и решал все свои проблемы. Примерно на такой же поворот сюжета рассчитывал и Аркаша.

Но священники, с которыми ему доводилось общаться, всегда говорили одно и то же: надо больше молиться и чаще ходить в церковь. Если же они отступали в своих речах от этой ясной любому верующему идеи, то становились похожи на самых заурядных людей, таких же, как и большинство Аркашиных знакомых, не облечённых мистической силой и не облачённых в длиннополые мантии, и говорили нечто обыденное, ничего нового не дающее ни уму, ни сердцу. И от этих обыденных речей ему становилось ещё тоскливее.

Чтобы не думать о смерти, он стал думать о Сонечке, собрал всё внимание на чувстве к ней, но мысль прыгала туда-сюда. Тогда он стал сочинять стихи, чтобы при помощи слов дать разуму нужное направление. И вот что у него получилось:

Парус лазурный на мачте распят,
Ветер дрожит на канатах,
Волны невольно под килем кипят,
Пьяные кровью заката.

Сколько мы вместе проделали миль
И горизонтов минули,
И, наклоняясь над краем земли,
Смерти в глаза заглянули.

Прощай, каравелла, прощай,
Отныне я связан с землёй.
Прости мне мою печаль:
Мне трудно расстаться с тобой.

Будет команду течение нести,
Прочь отгоняя тревогу,
Одних я повесил, других — покрестил,
Благословляя в дорогу.

Ты—Санта-Роза, ты Дочь Зари,
Нет уже трапов над бездной.
Солью забрызганы щёки мои,
Сердце заходится песней.

Прощай, каравелла, прощай,
Отныне я связан с землёй.
Прости мне мою печаль:
Мне трудно расстаться с тобой.

Плыви, каравелла, плыви
И курса вовек не меняй,
К берегу новой любви
Отправишься ты без меня.

Аркаша остался доволен написанным, рифмованное заклинание сработало и по крайней мере дня на два окружило его сердце защитным куполом, непроницаемым для сумрака сомнений. Стихотворный образ установился в нём, как стержень, вокруг которого упорядочился хаос мыслей и чувств.

Это было весьма кстати, поскольку из-за поворота аллеи появилась едва различимая фигурка, в которой Аркаша мгновенно узнал Сонечку. Прежде чем стало различимо лицо или хотя бы цвет волос, он опознал её характерную неровную походку, особенную угловатость, порывистость движений. Но эту походку он считал прекрасной, потому что это была её походка. Сонечка приблизилась. На ней было новое яркое платье цвета морской волны. В остальном это была прежняя Сонечка, с её смугловатой кожей, которая всё же казалась бледной, поскольку глаза её были черны, как безлунная ночь, а губы безо всякой помады имели тёмно-малиновый цвет, словно бы кто-то истерзал их жадными поцелуями. Конечно, Аркаша мог ругаться, что до сих пор эти губы целовал только он, а он делал это крайне осторожно и трепетно. Но... такие уж это были губы! Тёмные волосы волнами спускаются на плечи. Над глазами густые брови, что выдаёт страстную натуру. Когда она улыбается, видно, что клыки хищно выдаются вперёд. Но сейчас она не улыбается. Она напряжена, очередная встреча с Аркашей ей в тягость.

И он сразу почувствовал это и захотел чем-то растопить возникший между ними лёд, но не знал как. И он не знал, как заговорить с ней. Может быть, ему и следовало просто честно изложить всё это—дать вырваться первым словам, которые пришли в голову, поскольку он был всё-таки поэтом, и когда отключал разум, голову его заполняли не особенно глубокие, но искренние стихи.

— У тебя новое платье,— в итоге сказал он.

— Тебе нравится?— спросила Сонечка, она слегка картавила.

— Да,— сказал он, хотя на самом деле ему было всё равно: его интересовало то, что под платьем... То есть... Ну, в смысле, сама Сонечка, а не её одежда.

— Вот увидишь, скоро все будут так ходить. Помнишь, прошлым летом я ходила в розовом, а к концу лета все стали так наряжаться? Теперь я снова предугадаю моду.

Аркаша подумал, что нет ничего хорошего в том, чтобы стать таким, как все, ещё раньше остальных, но вслух лишь пробормотал:

— А мне кажется, что все так и будут в розовом ходить.

— Много ты понимаешь в моде!— обиделась Сонечка.— Ты вон даже обувь себе новую не можешь купить, хотя я тебе говорила.

— Слушай, мы ведь не для этого с тобой встретились,— поспешил переменить тему Аркаша.

И тут же задумался: сначала сказать про свой отъезд, а потом прочесть стихотворение, или наоборот? Обе карты были козырные.

Он решил начать с отъезда и предложил девушке выбор: либо сразу ехать вместе с ним, либо он один поедет готовить плацдарм для их совместной жизни в Петербурге. Сонечка ведь давно мечтала о жизни в столице и не упускала случая в разговоре с Аркашей указать на убогость провинциальной действительности и на насыщенность культурной жизни в центре, точнее, на западе России. Правда, Сонечку «рвало» немножко в другую сторону.

— А почему не в Москву?— спросила она с убийственным равнодушием.

— Ну, в Питере культура, а в Москве деньги.

Сонечка обиженно хмыкнула и принялась перечислять ему знаменитые московские театры, институты искусств, деятелей культуры, проживающих в Москве. Но Аркаша возразил:

— Да дело ведь не в этом. Не в том, сколько Макаревичей проживают в Москве. А в том, что там они теряются под толстым-толстым слоем бабла. Когда мы с тобой туда ездил, я же видел, что весь центр—сплошная карусель из дорогущих ресторанов, магазинов, банков и министерств...

— Ага, а кто со мной ходил в рок-кафе на концерт группы «Тарарам»?

— Я не говорю, что там совсем ничего нет... Кстати, это рок-кафе было втиснуто в какой-то простенок на тёмных задворках.

— Задворках?— ещё больше возмутилась Сонечка.— Малашин переулочек— вообще культовое место!

— Что-то я впервые про него тогда услышал.

— Ещё бы,— дёрнула плечом Сонечка, смерив его презрительным взглядом, цыкнула, вздохнула с подрёвыванием, давая понять, что в такой дыре, которую в данном случае он, Аркаша,лицетворяет, никто и не может знать о Малашином переулке, а если бы и знал, то это было бы оскорблением глубокоуважаемого переулка.

Аркаша видел, что она настроена воинственно, но ничего не мог с собой поделать: в нём как будто сорвалась с резьбы долго и безжалостно

закручивавшаяся гайка, и теперь он дал волю накопившейся обиде. Тем более что Сонечка вовсе не просила его остаться, а просто хотела, чтобы он уехал от неё не в Питер, а в Москва.

Изломали копыя, прошлись, молча выпуская пар, но так и не остыли. Конечно, он прочитал ей стихи, но они не произвели на пресыщенную его поэтическими посвящениями Сонечку должного впечатления. Она легко разгадала систему символов стихотворения, высказала догадку, что под «командой» имеется в виду местная рок-группа «Чёрные цветы», для которой Аркаша писал тексты, и с усмешкой заметила, что напрасно Аркаша ставит себе в заслугу суицидальные потуги их бывшего басиста. Финал встречи скопался, удручённый и озлобленный Аркаша поспешил откланяться, а два билета на поезд так и остались лежать в кармашке его рюкзака.

На обратном пути, прижавшись лбом к автобусному окну, он думал: как так вышло, что за какой-нибудь год с прелестнейшего котёнка облетел нежный пушок, из-под которого появилась колючая щетина? Конечно, тут и его вина: он был старше, но не сумел уберечь, сохранить... А теперь жестокий хирургический эксперимент, который они проводили друг над другом, завершён, и никто из них не в силах повлиять на дальнейшую судьбу другого. Значит, надо отбросить воспоминания и снова начинать поиски любви с самого начала...

«Тем лучше. Тем лучше»,—повторил он себе несколько раз, а потом, чтобы не забыть, принял мысленно декламировать недавно сочинённое стихотворение и настроил радиолу своей души на умиротворённо-лирическую волну. «Пускай я потерял Сонечку, но уж это стихотворение у меня никто не отнимет. А стихотворение-то хорошее»,—с удовлетворением подумал он. И уже на следующий день назначил «прощальное свидание» другой девушке.

Девушку звали Жанна. Она была неглупа, хотя и не так блестяща и талантлива, как Сонечка. Правда, Жанна увлекалась фотографией, но ведь всякий молодой человек, накопивший денег на полупрофессиональную камеру, уже считается фотохудожником. Главное же, Жанна обладала тем, чего не было у Сонечки,—роскошным телом.

Она была выше Сонечки и полнее, но не слишком, а так, что руки, ноги, плечи вместо Сонечкиной демонической угловатости имели приятную округлость, мягкость. Эта сочность, этот достаток подчёркивался тонкой талией. Спину она держала прямо, в то время как Сонечка вечно сутулилась за своим фортепиано. Движения Жанны были плавны, почти танцевальны, не в пример резким жестам Сонечки. Грудь Жанны была округла и упруга, девушка не упускала возможности похвастаться ею, наряжаясь в обтягивающие кофточки или платья с глубоким вырезом. Вообще же

одевалась она без особой претензии (ей нечего было доказывать и нечего стыдиться), предпочитала лёгкие яркие ткани, подражая героиням Болливуда. Её тянуло в сторону Индии, Аркаша подозревал её в кришнаитстве.

Увлечение религиями Востока широко распространилось среди молодёжи, особенно девушек. Девушки переставали есть и осваивали техники ритмического дыхания. Однако любопытный нюанс: ведические книги, которые Аркаше на улице предлагали молодые люди экзотического вида, все были сплошь написаны авторами с английскими фамилиями. Плейлист Жанны был заполнен мантрами в обработке Джорджа Харрисона, а с афиш заезжих гуру буддизма или индуизма на Аркашу голубыми глазами смотрели блондины с улыбками тех самых психотерапевтов из американских фильмов. У Жанны были карие глаза и толстая чёрная коса, что лучше сочеталось с индийским образом. Вообще лицо её было очень красиво, хотя и не озарено огнём вдохновения, как у Сонечки. Брови у Жанны были тонкие, и она умела приподнимать только одну, когда удивлялась слегка (а когда удивлялась сильно, приподнимала обе, как все). У неё был аристократический нос с горбинкой, однако своей грузинской или армянской фамилии Жанна почему-то стеснялась и подписывалась в Сети как Жанна Солнечная. Несмотря на свою редкую красоту, а может, в некой загадочной связи с этим своим качеством, Жанна принципиально не любила фотографироваться. Возможно, это было связано с какими-то суевериями. Аркаша, почитавший иконы и бывший не прочь разжиться фотографиями прекрасной Жанны, пробовал разубедить её. Но на его христианские доводы девушка не реагировала и вообще отзывалась о православию с иронией, что несколько коробило Аркашу. Да, слишком во многом они были несходны, и всё же желание припасть к бюсту Жанны было превыше любых религиозных противоречий.

Для объяснения можно было бы пригласить Жанну к себе, но предыдущая попытка устроить романтический вечер дома позорно провалилась: когда дело дошло до бутылки вина, оказалось, что у Аркаши нет штопора, он попытался вынуть пробку при помощи ножа и вилки и сильно поранил палец. Жанна не переносила вида крови—вечер был испорчен безвозвратно.

Аркаша понимал, что девушку полагается водить в ресторан или кафе, но в подобных местах он чувствовал себя скованно и робко; сейчас же ему необходима была уверенность, чтобы поманить Жанну за собою в Северную столицу. Да и читать стихи в ресторанах было совершенно невозможно, поскольку там постоянно играла музыка. А ведь у каждого стихотворения—своя мелодика, его нельзя исполнять «под чужую дудку».

Поэтому он выбрал местом встречи заросший травой и редкими деревьями остров — последнее зелёное лёгкое задыхающееся в бензиновом угаре города. Жанна снова была притягательно-прекрасна: она распустила косу, нарядилась в юбку и кофточку тёплых цветов, надела блестящие украшения и теперь сделалась похожей на цыганку. Это несколько обнадёжило Аркашу: может быть, поостыло её увлечение ведами? Но, в лучших российских традициях, разговор о предстоящей поездке невольно сполз на споры о Боге.

Жанна на Аркашины проповеди ответила строчкой из песни Егора Летова (надо сказать, что познакомились они на концерте «Гражданской обороны»). Жанна заявила, что призыв Летова: «Убей в себе государство!» — она распространяет и на государственную религию. Аркаша стал горячо возражать, что Егор сам считал себя православным, а призыв его относился к безбожному советскому строю.

— Стало быть, песни Летова умерли вместе с Союзом? Пара лет — недолгая жизнь... Зачем же он их пел на том концерте? — Жанна приподняла одну бровь.

Аркаша словно споткнулся о невидимый порог. А потом стал уговаривать девушку почитать труды того самого проповедника, не боявшегося выступать на одной сцене с рокерами. Сам Аркаша при чтении богословских статей с готовностью подчинялся логике батюшки, в юности закончившего факультет научного атеизма, и он был уверен, что хитроумные аргументы сокрушат сопротивление Жанны и загонят заблудшую овечку в церковное стойло.

Девушка же в ответ рассказала ему восточную притчу:

— Юноша пришёл к одному мудрецу и стал спрашивать его, что он думает по поводу тех или иных учений. Пока юноша говорил, мудрец наливал чай. И вдруг юноша увидел, что мудрец льёт в его чашку через край, и сказал ему об этом. «Так и ты, — сказал мудрец, — переполнен излишними знаниями».

— Вот мудрец-молодец, — усмехнулся Аркаша. — Нет бы честно сознаться, что ничего он по поводу вопроса юноши не знает и сказать ему не может. Ещё и пролитый чай сюда приплёл. Аналогиями можно доказать всё что угодно. Юноша бы мог в ответ вылить весь чай из кружки и делать вид, что пьёт из пустой, сказал, что так же и этот «мудрец» притворяется, что наполнен чем-то, а в самом же деле пуст, или стукнуть старика палкой по голове и сказать, что его речи, как эта палка: причиняют головную боль, но не вразумляют.

Жанна приподняла обе брови:

— Не ты ли пытался убедить меня, что причастие необходимо, сравнивая его с лекарством? Тоже ведь просто аналогия — не более.

Аркаша прикусил язык. Получалось, что его критика прочих религий легко обращалась против его собственной веры.

— Хорошо, ты призываешь меня отказаться от моей религии и вообще перестать забивать себе голову всякими теориями, книгами, перестать задумываться над проклятыми вопросами. А что ты предлагаешь взамен? Что надо делать-то?

— Да просто жить, — воскликнула Жанна. — Жить, наслаждаться жизнью!

— То есть давайте будем жрать? — напомнил он ей другую строчку Летова.

— Во всяком случае, это лучше, чем постоянно молиться и забивать себе голову чем попало.

Аркаша пожал плечами: мол, на вкус и цвет...

Над ними раздалось карканье вороны, похожее на звук саксофона. Они двигались по узкой тропинке, то рядом, то друг за другом. Аркаша с грустью смотрел на мелькающую впереди, то пропадающую за высокой травой, то снова возникающую фигуру, напоминающую язычок пламени, пламени, у которого он так бы хотел согреться. Но так уж выходило, что разница взглядов разрушала всё то, что выстраивали взаимное любопытство и общность темпераментов. Он бросал вослед девушке какие-то доводы и обещания. Он как будто спешил вытряхнуть из себя все скопившиеся внутри слова и засыпать ими девушку или выстроить из них высокую стену, прочный фасад, чтобы спрятать за ним свою издёрганную душу. — Не поеду я с тобой, — вздохнула Жанна, обернувшись. — Ты меня цитатами замучаешь или анафеме предашь.

Аркаша вздохнул: он ожидал такой развязки. А потом прочитал ей прощальное стихотворение о каравелле. И тут случилось неожиданное: Жанна опустила голову, и из-под закрытых лиц чёрных прядей закапали частые слёзы.

— Что же я могу поделать? Разорваться? — всхлипывая, проговорила она, и нельзя было понять, что заставляет её разрываться.

Аркаша был потрясён. Слёзы Сонечки, которая любила пожалеть себя, каждый раз трогали его сердце, а тут плакала сильная и гордая Жанна! Он поспешно забормотал что-то благородное и утешительное, что-то в том духе, что он всё понимает, ничего не требует, никуда не торопит и желает ей только добра, ничем не ограничивает её свободу и готов ждать столько, сколько ей будет угодно.

На том и расстались.

В автобусе Аркаша всю дорогу слушал, как один парень рассказывает другому о новой компьютерной игре «Alone in the Dark». Он подробно пересказал её мистический сюжет и мрачную атмосферу, описал игровую механику, выбор оружия, все настройки, тактические приёмы борьбы с монстрами и даже курьёзные случаи из своего личного игрового опыта в данном виртуальном мире...

«И ведь не надоедает им,— подумал Аркаша.— Интересно, одобрила бы Жанна такой способ „просто жить“ и не забивать себе голову лишними вопросами? Нет, наверное, не одобрила бы. Ведь это не жизнь, а её имитация. В её представлении, наверное, „наслаждаться жизнью“ — значит, цветочки нюхать или на пляже под солнышком коптиться. Впрочем, если бы я заявил, что каждый имеет право выбирать те наслаждения, которые ему по вкусу, то она бы, скорее всего, вынуждена была согласиться. А я бы тогда сказал, что в таком случае и я имею право выбрать наслаждение поиском истины. Пожалуй, она бы опять согласилась, но попросила бы заниматься этим без неё...»

По словам Жанны выходило, что каждый человек свободен лишь в пределах невидимого шкафчика, покидать пределы которого он не имеет права, а уж тем более заглядывать в чужой шкафчик. Аркаша посмотрел в окно автобуса и увидел целый поток железных футляров на колёсах, внутри каждого из которых сидел человек с напряжённым лицом. «Нет, я не согласен с такой свободой. Всё-таки христианство мне нравится за его невсеядность, за то, что оно предъявляет к человеку высокие нравственные требования, ставит какие-то задачи. Вот уж и правда, не сошлись бы мы с ней характерами».

«Как же так? Всё происходит романтично, красиво, но я всё равно остаюсь один! А главное, почему я просто не умею быть один? Романтическим героям или святым это удавалось так легко и артистично...» — думал Аркаша той же ночью, лёжа на своём продавленном холостяцком диване.

До отъезда оставалось двадцать дней. Собраться с мыслями мешал храп из-за стенки.

«Разные веры и культуры разделяют людей. Вот бы было здорово, если бы все люди на земле стали христианами!» — подумалось ему, и юноша даже не вспомнил, как часто христиане истребляли друг друга; вместо этого он обратил свой гнев против восточных притч.

Он встал с постели, включил компьютер и заглянул в Интернет, наугад потыкал странички электронных друзей во «ВКонтакте», почитал их любимые цитаты.

«Не рой другому яму— пусть сам роет».

«Люди могут пить вместе, могут жить под одной крышей, могут заниматься любовью, но только совместные занятия идиотизмом могут указывать на настоящую духовную и душевную близость».

Макс Фрай

«Когда великий мудрец занимается незначительным делом, он им тяготится и невольно тянется к вину».

М. Успенский

«О вреде алкоголя написаны тысячи книг. О пользе его—ни единой брошюры... мне кажется, зря».

Как-то так получалось, что за многими «мудростями» его знакомых скрывалось что-нибудь худшее: жестокость к ближнему, пьянство, стремление тратить жизнь на пустяки. А красивые, смешные или просто подкреплённые авторитетом древности или знаменитостей фразы оправдывали это всё и потому считались мудрыми.

И вот тогда он сочинил первые притчи о мудром дедушке Габхо.

Источник мудрости дедушки Габхо

Один юноша очень хотел познать истину, но не меньше любил бухать. Однажды он пришёл к дедушке Габхо и спросил:

— Учитель, что означает алкоголь на Пути Ищущего Свет?

Просветлённый старик подошёл к холодильнику и достал бутылку рисовой водки. Они долго пили, но дедушка Габхо ни слова не сказал по сути вопроса. Когда же юноша отправился домой, он едва мог стоять на ногах и в конце концов упал в грязь. В грязи было холодно, зато мягко. И тут его осенило: «Алкоголь—одновременно и источник, и решение всех наших проблем!» Он устроился поудобнее и уснул. С тех пор он стал бухать ещё больше и засыпал только в грязи.

Очищение дедушки Габхо

Один юноша любил изменять своей невесте с девушками из одного недорогого заведения. Однажды он пришёл к дедушке Габхо и спросил:

— Учитель, когда по утрам я говорю своей ревнивой невесте, что всю ночь в образе Бэтмена боролся с преступностью, она мне не верит и ругается! А когда извиняюсь перед гейшами, что не бываю у них днём, они только улыбаются и делают мне массаж. Почему так?

Просветлённый старик задумчиво почесал бороду... потом живот... потом спину... А потом, не сказав ни слова и даже не извинившись перед гостем, пошёл мыться. И ученик понял: «Никогда не надо оправдываться. Твои враги всё равно не поверят, а друзьям это попросту не нужно». Так юноша понял, кто ему друг, а кто враг.

Справедливость дедушки Габхо

Один юноша украл у бедной вдовы миллион долларов, а чтобы она ничего не заметила, зарядил ей в глаз. Потом его поймали и решили посадить в тюрьму. Юноша решил скорее обратиться за советом к дедушке Габхо. Но его не пустили из-под стражи, и к просветлённому старику (благодаря весьма шестелящей просьбе юноши) пошёл сам судья. Судья поклонился дедушке так низко, что чуть не потерял парик, а потом спросил:

— Учитель, в чём причина тех поступков, которые мы совершаем?

— Ась? Чаво? — убелённый мудрец сделал недоумевающее лицо. — Лучше помоги мне передвинуть шкаф.

И вот, когда они двигали шкаф, сверху упал тазик и стукнул судью по голове. Сначала судья обиделся на тазик, но понял, что это глупо. Тогда он обиделся на шкаф, но это тоже было глупо. Тогда он обиделся на бабушку Габхо, но это было невежливо. А на себя судья вообще не привык обижаться. И тут свет озарения настиг его: «Умоих поступков нет причины. Я — совместное усилие всех тех, кого я когда-то знал!» И обрадованный судья отпустил юношу и посадил в тюрьму всех его друзей.

Уже на следующий день Аркашины притчи нахватали кучу лайков. Однако некоторые знакомые — что любопытно, совсем не те, у которых он взял «мудрые сентенции», — сочли себя уязвлёнными, о чём и заявили в комментариях. Даже Сонечка задала вопрос: «Вторая притча — это про нас? Грязно».

«Вот он, парадокс, — подумал Аркаша. — Как только начинаешь сочинять какой-нибудь сюжет, знакомые первым делом принимают разыскивать среди персонажей себя, а потом заявляют, что они совсем не такие».

Следующей кандидатурой на поездку в Питер была Настя. Она постоянно витала где-то на периферии Аркашиной жизни, за ней ухаживали некоторые из его друзей, но Настя оставалась сама по себе и иногда предпринимала в направлении Аркаши шаги, которые можно было расценить и так, и сяк; иногда такие же шаги в Настином направлении предпринимал сам Аркаша. Например, она подарила ему на Новый год баночку леденцов, на крышке которой были изображены мальчик и девочка, отдалённо напоминавшие Аркашу и Настю. Она сочинила пару шуточных романтических четверостиший о нём, и он отвечал ей тем же. Они ходили вместе на каток, но всё ещё сохраняли определённую дистанцию.

Ехать на другой конец страны одному не хотелось, а потому Аркаша подумал, что, может быть, расстояние между ним и Настей пора сократить.

Настя была ровесницей Сонечки, ещё недавно они состязались друг с другом на районных школьных олимпиадах. Явных талантов у Насти не наблюдалось: в свободное время она занималась спортом, училась одинаково хорошо по всем предметам, поступила на что-то связанное с экономикой. В то же время она не производила впечатления совершенной простушки, поскольку быстро усваивала стиль общения своих знакомых. Вращаясь в рокерской тусовке, она научилась неплохо ориентироваться в музыкальных группах, получила общее представление о современных музыкальных стилях; особенно ловко она схватывала шутки и оценки людей, бытовавшие в среде,

в которую она погружалась, а потому всякий считал её своим человеком. Её охотно приглашали на всякие посиделки, тусовки и концерты, на местные мероприятия она ходила только бесплатно, но не злоупотребляла своим уровнем доступа, никому не навязывалась, держалась с чувством собственного достоинства. Кстати, о достоинствах: с ней действительно было легко, она умела говорить с собеседником на его языке, всегда могла рассказать что-нибудь забавное. Что касается внешности, то Настя обладала скорее пышным, несколько расплывчатым телом. Можно сказать, что вместе с Сонечкой она образовывала противоположные полюса Аркашиного вкуса, золотой серединой между которыми являлась Жанна. При мощном теле, которое даже несколько подавляло шушлого Аркашу своим изобилием, голова Настеньки была маленькой, что, однако, компенсировалось пышными золотыми волосами. На маленьком лице всё тоже было маленькое, что делало его выражение неуловимым: прохладные голубые глазки, аккуратный носик, небольшие ушки, губы небольшого рта были бледноваты. Вообще, от всего облика Насти несколько веяло холодом: кожа её была бледна, волосы, как уже говорилось, светлые, косметикой она не пользовалась принципиально (что Аркаша считал бесспорным достоинством). Следует добавить сюда ещё определённую монументальную малоподвижность. Если развивать сопоставление трёх дам Аркашиного сердца, то они различались и голосом: у хрупкой Сонечки он был низким и грудным, как у настоящей певицы, виртуозно владея его оттенками — от трепещущего шёпота до мощного вокала — она управляла и Аркашиной душой; у статной Жанны голос был резкий и ломкий, легко переходящий при возбуждении в фальцет; а вот у Насти голос был тихий и слишком спокойный.

Идти на приступ твердыни под именем Настя, с одной стороны, было страшновато, а с другой, Аркаше очень любопытно было взглянуть, что кроется по ту сторону нерушимой стены её уравновешенности; кроме того, его самолюбию польстило бы обладание столь большим телом.

Настя предложила встретиться у неё дома, и это был добрый знак, но всю дорогу Аркаша спрашивал себя: точно ли он хочет связать с ней свою судьбу? Некий пронзительный голос не утихал в его голове, требуя женщину. Этот голос исходил изнутри Аркаши и одновременно доносился извне. Разговоры с друзьями сводились к девушкам, о любви пели рокеры, вокруг любви вращались сюжеты голливудских фильмов, причём не просто вокруг какой-то там абстрактной любви, а той самой, объектом которой может быть только девушка с соблазнительным телом. Все остальные плюсы уже относились к разряду бонусов. Собственно, секс и представлялся кульминацией

сложной многоступенчатой торговой операции под названием «отношения». И на поводу (или даже на поводке) у этой логики Аркаша двинулся по направлению к Настиному дому.

Настя встретила его одетой по-домашнему — в спортивных штанах и футболке; домашняя обстановка также произвела на него впечатление простоты, даже некоторой пустоты. В комнате Насти стояли кровать, стол с компьютером, учебниками и тетрадами, взгляду было не за что зацепиться: ни книжной полки, ни икон или плакатов на стенах. Точнее, был плакат, посвящённый фильму «Звёздные войны», но это также не предоставляло пищи для размышлений: всё-таки «Звёздные войны» — это не «Андрей Рублёв» Тарковского и даже не «Бойцовский клуб».

Вся эта обстановка вселяла неуверенность, Аркаша не решался переступить установленных между ним и девушкой границ и пока говорил о пустяках. Потом Настя пригласила его на кухню и стала угощать. От дарового угощения он не отказывался, даже когда бывал сыт, есть привык быстро и жадно: то ли сказывались воспоминания о голодных девяностых, на которые пришлось его детство, то ли опыт ребёнка из большой семьи. — Жуй хорошо, — настойательно сказала Настя. — Кто долго жуёт, тот долго живёт.

Эта поговорка окончательно убила в Аркаше желание что-то там преодолевать и сокращать. Он посмотрел на кружку с чаем, которую подвинула ему хозяйка, и ему показалось, что эта кружка объяснила ему очень многое. Кружка была большая, с розовым цветком на округлом боку. А чай внутри был жиденький и чуть тёплый. Аркаша даже дух перевёл, ощутив, что удержался от большой ошибки. Он ещё немного потрелпался обо всякой ерунде, чем весьма позабавил Настю, и покинул её квартиру. На улице он попытался разобраться в своих ощущениях: «Ведь Настя неглупа. Просто не хватает в ней какого-то огонька. Слишком спокойное сердце. Есть ли оно там? Впрочем, если у человека нет сердца, то откуда возьмутся мозги? Одно без другого не бывает...»

К себе он возвращался уже вечером и, проходя мимо соседнего дома, заметил тёплое мерцание. Присмотревшись, Аркаша разглядел, что на асфальте рядом со стеной дома горят какие-то бумажки или тряпочки. Небольшой огонёк бросал блики на стёкла нижнего окна, однако Аркаша решил совершить гражданский поступок и затоптать источник возгорания. Он уже приблизился было к огню, когда услышал приглушённый голос: — Не надо.

Неподалёку на скамейке сидела женщина. Она была закутана в чёрное и расплывалась в сумерках мрачным пятном; может быть, потому Аркаша и не заметил её сперва. Женщина пробормотала что-то в духе: «Это моё». И Аркаша отошёл в сторону.

Шагая к своему крыльцу, он догадался, что женщина колдует, или гадает, или что-то в этом роде. Сперва он вздрогнул, а потом, поразмыслив, плюнул: мол, вот крыша поехала у тётеньки! Наверное, мужика привороживает или от водки заговаривает. Напомним, что в отношении чужих суеверий Аркаша умел рассуждать строго и здраво.

Дома он сперва уткнулся в компьютер. Раз уж все три феи оказались непригодны для дальнейшей жизни, может быть, стоило начать всё с самого начала? Открыл «вконтакте», зашёл в «Поиск людей» и стал листать бесконечную вереницу профилей девушек в своём городе, а также и в Петербурге. Он отсортировал их по семейному статусу («В активном поиске») и по убеждениям («Христианство»), но всё равно девушек получилось бесконечно много. Впрочем, профили не блистали разнообразием. Многие девушки, располагавшие красивым телом, фотографировались в полуголом виде. С одной стороны, такое предложение товара лицом не могло не радовать Аркашиного внутреннего жеребца, но с другой — ему было ясно, что, всячески выпячивая телесные стати, эти девушки стремятся скрыть отсутствие мозгов и сердца. Впрочем, возможно, это отсутствие считалось достоинством? Мол, ничего лишнего, беспримесный секс. Но ещё неприятнее было сознание того, что эти выставленные напоказ снимки обнажённых девушек демонстрируют и полное пренебрежение к уму и сердцу и даже к телу «покупателя». Красивые голые тела меняются только на богатство. Не обязательно прямо на деньги, но на красивые вещи, дорогие подарки, поездки, вообще жизненный комфорт. А без этого всего — просьба не беспокоить. Многие девушки не снимались голыми, но оттопыривали губы, как будто хотели чмокнуть фотообъектив. Таких Аркаша тоже отсекал сразу: очевидно, что дуры. Ему бы хотелось найти девушку симпатичную, но уж если не талантливую, то хотя бы оригинальную, читающую книги и слушающую рок.

Сонечка и Жанна поставили себе на аватарки не свои изображения, а нечто постороннее: Сонечка — карандашный рисунок рожицы, а Жанна — слоноголовое божество. Поэтому он стал присматриваться к страничкам девушек, которые пользовались не портретными аватарками. Это было утомительным занятием: приходилось копаться в фотоальбомах, чтобы понять, как выглядит та или иная кандидатка в музы. Увы, чаще всего оказывалось, что странные картинки на свои аватарки зачастую ставят девушки, которым не нравится своя внешность. Так что, просидев до полуночи за компьютером и ничего не добившись, Аркаша прекратил поиски.

Когда же он погасил свет, чтобы лечь спать, ему в голову стал настойчиво лезть случай с колдующей тёткой.

Когда Аркаша уже, казалось бы, начал дремать, ему померещилось, что темнота складывается в фигуру женщины, сидящей на стуле. Сперва она была похожа на ту старуху, но очень скоро превратилась в изящную молодую женщину в длинном платье и с пышной причёской.

«Так ты отрицаешь колдовство?» — спросила она, почти не шевеля тёмными пухлыми губами.

«Я против колдовства», — ответил Аркаша ещё прежде, чем успел удивиться. Сентенции религиозных мыслителей и доводы проповедников, постоянно просившиеся из его головы наружу, срывались с языка почти помимо его воли.

«Это другое», — сказала женщина, подняв одну бровь. О да, она была похожа на Жанну. На Жанну и Сонечку одновременно! И ещё на кого-то третьего, кого он не мог сейчас вспомнить.

«И я не верю в колдовство», — произнёс Аркаша менее уверенно, поскольку на этот счёт мнения его учителей раздваивались: одни верили в колдовство, другие утверждали, что... — Усатаны нет реальной силы...»

«Но ты не отрицаешь существование в мире потусторонних сил? — перебила его красивая женщина и продолжила, как будто диктовала: — Не отрицаешь мистическую основу мира и то, что мир солнечный стоит на мире лунном, как тело существует, пока в нём есть душа, как народ существует, пока жива его культура? От этой главной исходной мысли не отречётся ни один человек, если он не душевнобольной или не материалист, что в конечном счёте одно и то же. Но далее из этой точки ведут разные пути. И ты, конечно, выбрал тот, который указывает учащая церковь», — закончила она с насмешкой.

«Кто ты?» — Аркаша, наконец, произнёс тот вопрос, который следовало задать с самого начала.

Она рассмеялась так, словно он привёл её в ювелирный магазин и сказал: «Выбирай», — а она невысоко ценит украшения.

«Иные называют меня Сатанесса».

Это не испугало Аркашу, скорее показалось немного нелепым.

«Так ты против церкви?» — спросил он.

Она не ответила. Лишь поднялась со стула, встала напротив Аркашиного самодельного иконостаса и перекрестила по-православному, а затем по-католически. У неё были нежные музыкальные руки, стиснутые узкими манжетами старомодного, видимо голубого, но в темноте казавшегося фиолетовым платья с высоким воротником.

Тут Аркаша заметил, что на стуле осталась её тень. И даже не тень, а сутулый, скомканный человек в серой пиджачной паре. Из аккуратной подстриженной бороды торчали большие уши и нос, а глаза с холодной злобой смотрели на женщину. Впрочем, похоже, злы они были сами по себе,

и человек не ненавидел ту, которая назвала себя Сатанессой, больше, чем весь остальной мир.

Между тем гостя снова заговорила:

«Я против самоуменьшения, самопринижения. Добровольное рабство — худший грех».

Аркаше и нравились, и не нравились эти слова.

«А как же любовь? Разве она не требует если не самозабвения, то хотя бы самоограничения?»

Взгляд Сатанессы кинулся к сидевшему на стуле и разбился об лёд его глаз. Между взорами ночных посетителей произошёл короткий диалог, потом человек провёл в воздухе пальцами, стряхивая невидимую паутину.

«Люблю я себя как Бога», — сказала женщина, повернувшись к Аркаше.

«Быть влюблённым в самого себя — скучный сюжет для романа».

«Это остроумно. И всё же творчество требует определённого дерзновения и перехода определённых границ. Ведь ты считаешь себя поэтом».

Аркаша утвердительно промолчал, и ночные посетители усмехнулись.

«Поэзия — это признак неудовлетворённости данностью, стремление к тому, чего нет на свете, заклинание потусторонних сил, то же колдовство».

«Уж лучше молитва», — пробормотал Аркаша.

«А чем молитва отличается от магии? Стремление выкрутить Господу руки при помощи верно произнесённых формул. Неужели Бог в неизречённой мудрости своей не знает сам, как ему поступить и что тебе нужно?»

«Обращение к Богу, скорее, нужно самому молящемуся, это полезно для души...»

«Вот прекрасно! Так значит, говоря с Богом, ты на самом деле говоришь с самим собой? Быть может, и сейчас, говоря с нами, ты просто обращаешься к самому себе?» — Сатанесса даже обиженно топнула ножкой.

И тотчас сон закончился. Аркаша оказался один в своей комнате.

Как это обычно бывает, сперва сон помнился ему ясно и отчётливо, образы таинственных гостей ярко рисовались перед глазами, и он даже огляделся вокруг: вот стул, на котором они сидели, вот иконы, на которые она крестилась... дальше — старый шкаф, в котором он любил прятаться в детстве, полка с книжками: «Ласковая кобра. Своя и Божья», «Иисус неизвестный», «Вечные спутники»...

Но лишь стоило ему включить свет, как воспоминание о сне стало таять, растворяться, оставляя после себя лишь навязчивую идею устроить собственный мистический ритуал в форме поэтического представления. Не попытаться ли достучаться если не до самого Господа Бога, то хотя бы до людей? На представление можно будет пригласить всех трёх своих муз, чтобы попытаться в последний раз всколыхнуть их чувства... а заодно

и дополнительно подзаработать на предстоящую поездку.

Он тут же вскочил с постели и до утра просидел над сценарием предстоящего действия, вдохновляясь сценическим поведением Джима Моррисона и символизмом фильмов Тарковского, но главное — театром Петра Мамонова. Мамонов вдохновлял простотой, даже примитивизмом своих постановок: ни декораций, ни реквизита, ни сценического действия они практически не требовали. На передней части сцены Мамонов читает непонятные стихи и кривляется (правда, кривляется довольно круто, профессионально), а на заднем плане маячит какой-нибудь мужик и размахивает воздушным шариком. Волей-неволей начнёшь высккивать в этом всё глубокий смысл. Понятное дело, это — Мамонов, который стал знаменит задолго до того, как смог позволить себе на сцене такую халяву, но ведь и Аркаша в своём городе личность небезызвестная...

Когда утром раздался звонок в дверь, он даже не шелохнулся: по договорённости, он дверь открывать никогда не ходил, опасаясь повестки в армию.

— Аркаш, это к тебе! — крикнула сестра и успокоительно добавила: — Не из армии.

Аркаша натянул трико и вышел в коридор. Там стояла пожилая женщина с бумагами в руках.

— Здравствуйте! Вы — Аркадий Сухореков?

Спросонок он чуть было не ответил утвердительно, но выработанное за последние годы чувство тревоги сработало, как система защиты на атомной электростанции:

— А... я его друг. Зачем он вам?

Тёнька удивлённо поправила очки.

— Ему повестка из армии.

У Аркаши ослабели колени и пересохло в горле. — Так... ведь его нет. Я не знаю, когда он придёт, — с трудом проговорил он.

— Может быть, вы можете передать ему повестку при встрече? — тёнька чуть улыбнулась.

Похоже, она не верила Аркаше. Да и как она могла не слышать слова сестры, назвавшей Аркашу по имени?

— Нет, я... я не могу. Я ведь... и вообще мне пора уходить, — пролепетал он.

Тёнька пожалала плечами и ушла. Быть может, она просто сжалась над перепуганным юношей. А юноша, вернувшись в свою комнату, немедленно оделся, схватил свой рюкзачок и, не умывшись, выбежал на улицу. Ему казалось, что в любую минуту в его дом нагрянет вооружённая облава. Надо было деться куда-то, спрятаться, для начала хотя бы просто отойти подальше от дома и собраться с мыслями.

Ощущение погони, слезки не покидало его с момента окончания университета, то есть последние четыре года. На этой почве в его и без того

наполненном фобиями мозгу крепла и развивалась ещё одна мания.

Даже на протяжении студенческих лет вопрос военной службы периодически возникал перед ним благодаря телевизионным репортажам о зверствах армейской дедовщины, о трупах молодых солдат, в мирное время прибывавших из частей в опечатанных гробах, о дезертирстве затравленных новобранцев, перестрелках между сослуживцами. Некоторые его однокашники умудрились «отмазаться» и по нескольку дней ходили счастливые и окрылённые, а над ним, Аркашей, и ему подобными призыв висел как дамоклов меч, и этот меч опускался всё ниже с каждым днём. Что делать? У тех, кому посчастливилось иметь родственников-врачей, внезапно обнаруживались редчайшие заболевания, освобождавшие их от службы. Тем, кто имел родственников в военкоматах, было ещё проще. Иным везло при медицинском осмотре. Существовала некая хитрая формула, позволявшая освободиться от службы за недостатком или избытком веса. Но разобраться в ней не мог никто, а значит, оставалась возможность, что приёмная комиссия будет пользоваться ей по своему усмотрению. На всякий случай Аркаша стал меньше есть. Теперь при росте сто семьдесят восемь сантиметров он весил около пятидесяти килограммов. Может быть, дать взятку? Но кому и как? Пресса сообщала об успешной борьбе со взяточничеством в призывных комиссиях. Это, безусловно, означало, что вместе с риском для армейских и медицинских чиновников возросли и размеры взяток. Одновременно с этим говорилось и о существенном недоборе призывников. Это значило, что требования к здоровью новобранцев будут снижаться, принимать будут всех подряд.

Помнится, как ещё на пятом курсе вместе с однокашником Женькой (все, естественно, называли его Джоном) ходили к одному доктору по этому вопросу. Но знакомство с доктором было слабое, он темнил, и не объяснял, что планирует предпринять и сколько это будет стоить. Когда ему задавали этот вопрос, он испуганно шипел и махал руками. Встречаться с ним было крайне трудно: на проходной сидели бдительные бабушки, подозрительность которых с каждым днём всё возрастала. Доктор был круглый, со щекастым лицом, широким носом и маленькими свиными глазками, и всем своим видом напоминал шаблонного кинозлодея. Сначала Аркаша, а потом и Джон бросили к нему ходить: они поняли, что зря теряют с ним время.

Так что страх вылететь из университета сменился после выпуска уже прямым страхом попасть в армию. Вопреки закону, им попытались всучить повестки вместе с дипломами, так что Аркаша и Джон и, наверное, многие им подобные предпочли остаться без дипломов. Так, с дрожью в коленках,

проходила молодость. Каждый звонок с неизвестного номера, каждый стук в дверь заставляли сердце сжиматься. К дверному глазку подходили на цыпочках, опасаясь увидеть там незнакомого человека с бумагами.

И вот теперь надо же какую свинью подложила ему сестра! Где же предел злобе и подлости человеческой?

Телефон в кармане брюк затрепетал и запищал мелодию «Оды к радости», на экране высветился неизвестный ряд цифр. Вот оно!

— Алло? — он постарался ответить чужим, низким и деловым, голосом.

— Гражданин Сухореков? Вас беспокоят из районного военкомата.

Рубашка мгновенно прилипла к спине, а потом в трубке раздался смех:

— Привет! Это Ковшик.

Тут только Аркаша узнал голос Серёги Ковшова и судорожно выдохнул:

— Ну и шуточки у тебя, Серёга!

— Испугался? — в трубке было слышно, как Серёга от смеха шлёпает по столу ладонью. — Запиши мой новый номер, а старый удали. Как твои делишки? Уговорил Сонечку в Питер ехать?

Аркаша ответил отрицательно.

— Ясно. Ну, надо бы ещё до твоего отъезда встретиться — пивка попить.

Попить пивка в данном случае означало, что Серёга будет пить пиво, а Аркаша — чай. И это Аркашу вполне устраивало, ибо от пива ему становилось нехорошо, а поговорить с подвыпившим Серёгой он любил. Они поверяли друг другу свои сердечные заботы, делились соображениями о Боге, играли друг другу песни, читали стихи. Серёга тоже был поэт, и вся его жизнь казалась похожей на один сплошной верлибр — стих без структуры и смысла: трудовые будни незаметно переходили в полукриминальные похождения, концерты превращались в попойки. Аркаша понимал, что записывать Серёгин номер почти бессмысленно: на очередной гулянке он опять потеряет телефон. — Ты слышал, как мы грузинам навалили в Цхинвале? Кстати, неплохая рифма: «В Цхинвале — навалили», — продолжал болтать Серёга.

— Нет, не слышал, — Аркаша не смотрел телевизор. — Ну, они на осетины полезли, а мы в ответ ка-а-ак ударили, так что у них только пятки засверкали. — Да, круто... — согласился Аркаша.

Ему было приятно, что «мы» наподдали каким-то «им», но по завершении телефонного разговора он продолжил размышлять о том, куда бы спастись от призыва в армию.

В раздумьях он сам не заметил, как дотопал до центральной площади, на которой проходил какой-то очередной митинг. Ещё издали Аркаша услышал звук громкоговорителя и заприметил пёструю толпу у подножия памятника Ленину.

Каменный Ильич, прищурясь, глядел на городской парк и подался вперёд, как будто хотел прокатиться на колесе обозрения и увидеть с его высоты город. Интересно, как оценил бы он произошедшие перемены? Ленина Аркаша не любил; правда, знал о нём только, что он во главе большевиков сделал революцию. А о большевиках знал только, что они расстреляли царскую семью и разрушали храмы. Не без злорадства Аркаша подумал, как Ильичу резанул бы по глазам блеск куполов и крестов на восстановленных и новых храмах, которые буквально заволокли город. В остальном, правда, город с советских времён не особенно изменился: ну, навтыкали тут и там уродливых высоток, в помещениях заводов открыли торговые центры, автодороги расширились и сожрали тротуары, а парковки сгрызли детские площадки. Автомобильные реки разлились и притиснули людей к стенам домов, машины активно проглатывали пешеходов и, переваривая, превращали их в автовладельцев или давили их на пешеходных переходах и автобусных остановках... «Ничего. Главное, что церкви есть», — успокоил себя Аркаша.

Как и полагается поэту, мысленно Аркаша противопоставлял себя «безликой толпе», но делал это умозрительно, не любя, скорее, слово «толпа», в то время как на самом деле его тянуло к большим скоплениям народа — на всякие митинги, демонстрации: хотелось потолкаться среди людей, услышать, что они говорят. «Наверное, это связано с детскими воспоминаниями о майских и ноябрьских шествиях», — думал он.

Юноша подошёл к площади и увидел, что на ней в основном собралась молодёжь, причём преимущественно относящаяся к готам и эмо — самым популярным субкультурам второй половины нулевых. И те, и другие были одеты в чёрное, но у эмо стрижки были короче, а у девушек-эмо, помимо чёрного цвета, в одежде присутствовал ещё и розовый. «Разбавили готическую мрачность розовыми соплями», — отметил Аркаша. С пьедестала памятника Ленину ораторствовал Саня Самоваров по прозвищу Пердяй:

— Депутаты Законодательного собрания края предложили запретить в школах субкультуры эмо и готы. Господам чиновникам они кажутся слишком мрачными. Но нет! Это они там слишком мрачные и не умеют одеваться. На самом деле им просто хочется зажать рот молодёжи, не дать ей самовыражаться так, как она хочет. Мы за полную свободу личности! Ведь если нам запретят одеваться так, как мы хотим, то в чём же тогда будет различие между людьми? Поэтому все, кто выступает в поддержку субкультур, пусть заклеит в знак протеста себе рот. Липкую ленту выдают наши активисты. Это наш флешмоб! — скандировал Саня, потрясая сосульками невымытых жёлтых волос.

И правда, у сцены уже стояло несколько молодых людей со ртами, залепленными жёлтым скотчем. Одним из них был, естественно, вездесущий и покорный Назаретх, который и без всякого скотча был всегда скромнен и безответен. Санькина боевая соратница Люська стояла рядом и держала наготове жёлтый моток.

Окончание Санькиной речи Аркаше не дала дослушать журналистка местного телеканала—она попросила у Аркаши разрешения взять интервью о митинге. Юноша согласился, и оператор нацелил на него объектив камеры.

— Как вы относитесь к намерению депутатов запретить субкультуры?

— Я считаю, что этим они окажут субкультурам большую услугу. Сейчас все они представляют собой лишь разные стили одежды—не более того. Если же субкультуры запретят, создадут неформалам имидж гонимости, тогда они станут чем-то большим, и протестные настроения у определённой части молодёжи усилятся.

— То есть вы поддерживаете запрет субкультур?— журналистка даже растерялась.

Она-то думала, что берёт интервью у завязатого неформала. Вид у Аркаши был яркий: волосы ниже плеч, гавайская рубашка в цветных разводах, руки унизаны нитяными и бисерными фенечками.

— Я за мирное сосуществование молодёжи с государством,— улыбнувшись, сказал он.

А когда его попросили представиться, сказал:— Аркадий. Преподаватель.

Конечно же, он был патриотом, но ко всяким там «несогласным», вроде Саньки, относился не с ненавистью, а с иронией. Кстати, вот и сам Санька уже идёт к Аркаше сквозь толпу, протягивая руку:— Здравóво, поэт.

— Привет, Пердяй.

— Э, зови меня теперь Летов. После того как Егор умер, я принял на себя его миссию.

Аркаша чуть не рассмеялся Саньке в лицо: каков ловкач! Не успел великий рокер отойти в мир иной, а его корону уже примеряют! И кто? Местный крикун—не то скинхед, не то панк, не то вообще непонятно кто, автор единственной песни «Дерьмо в Занзибаре», в которой, кроме этих трёх слов, никакого другого текста не было. — Я к тебе вот по какому делу,— продолжал тем временем Санька.— Ты же в Доме творчества работаешь? Я хотел предложить провести круглый стол по теме субкультур. Видишь, какие дела у нас творятся.

— Вообще, я увольняюсь. Но заманчиво, чёрт возьми. Тема острая. Давай я схожу поговорю, потом тебе отзвонюсь.

— Во! Зашибись. Аншлаг мы тебе обеспечим. Слушай, так может, тебя подвезти? Я теперь на колёсах. И не только в наркоманском смысле,

гы-гы,— Санька махнул рукой на припаркованную у площади зачуханную легковушку.

— Значит, и ты теперь стал человеком в футляре. А давно ли всех автовладельцев называл мажорами?

— Так я не для понта, а по надобности.

— По какой это?

— Из соображений безопасности: я— человек известный, меня побить могут.

— Ну нет. Я лучше пешком.

— Ну, пока, Аркаш.

— Пока, Пердяй.

Перед уходом Аркаша внимательно осмотрел митингующих и с удовлетворением отметил, что среди них нет ни одного из его бывших учеников. Спецкурс собственной разработки, который он вёл в школе, назывался «Молодёжные субкультуры».

По дороге к Дому творчества Аркаша сочинил ещё одну историю о дедушке Габхо.

Дедушка Габхо—против системы

Один юноша был бунтарём и ненавидел систему. Именно поэтому, когда он смотрел MTV, он всегда делал недовольное лицо. Он был не таким как все и поэтому играл на гитаре рок и одевался в специальных магазинах одежды для не таких как все.

Однажды он пришёл к дедушке Габхо и спросил:— Как мне победить систему?

Дедушка Габхо стоял на пороге и смотрел на него сонными глазами. И тут юноша понял, что имеет в виду гуру: «Первый закон антиглобалиста: надо пробудиться от сна. И делать то же, что и все, но при этом думать, что они дураки, а ты умный!»

И вдруг он заметил, что дедушка после сна не вытащил из ушей затычки. И юноша понял, о чём ему намекнул мудрец: «Второй закон антиглобалиста: никогда не слушай чужое мнение. Не надо обсуждать с кем-то свои мысли—так ты станешь в тыщу раз умнее!»

И тут он заметил, что на великом учителе трусы чёрного цвета. И юноша понял: «Третий закон антиглобалиста: надо носить трусы чёрного цвета!»

Дедушка пошамкал губами и одёрнул майку.— Хватит меня лечить! Теперь я и так смогу победить систему!— воскликнул юноша и отправился восвояси.

С тех пор он стал ещё усерднее играть на гитаре, и скоро его взяли на MTV.

Директор Дома творчества встретила Аркашу приветливо и была очень рада его предложению провести перед отъездом ещё одно, последнее мероприятие. Она даже пообещала оплатить его проведение, и это было весьма кстати: для поездки пригодилась бы любая копейка. С уходом Аркаши коллектив Дома творчества становился исключительно женским. Даже стало немного жаль этих влюблённых в свою работу тётушек. Кто же теперь

найдёт им нужную кнопку на компьютере? Кто поможет открыть форточку с тяжёлой металлической рамой? Но всё же не для этого появился на свет российский гений Аркадий Сухорекос. Его ждёт Петербург, и оглядываться назад недостойно мужчины.

Он вышел на крыльцо Дома творчества, окинул взглядом Театральную площадь, заставленную автомобилями. Куда податься? Где переждать преследования со стороны горячо любимой им родины?

И тут Аркаша вспомнил про Милу. Она возникла на его горизонте совсем недавно—уже после того, как он сообщил друзьям, что собирается в Питер. Они успели пару раз погулять вместе, поговорить, и Мила выразила сожаление, что он уезжает, и звала Аркашу в гости. Теперь он решил воспользоваться этим приглашением. Может быть, удастся посидеть у неё до вечера, что-нибудь перекусить.

Вообще, Мила казалась ему не особенно привлекательной, и в качестве возможной спутницы он её не рассматривал. Не было у неё ни аристократической утончённости, как у Сонечки, ни беспорядочной статной фигуры, чёрной косы или светлых кудрей, как у Жанны и Насти. Мила была среднего роста, фигуру её невозможно было рассмотреть, поскольку она носила широкую и предпочтительно мужскую одежду. Её тёмно-русые волосы были острижены в каре. Лицо—пропорциональное, без недостатков; может быть, разве что лоб был несколько тяжеловат и нависал над голубыми глазами, отчего они легко оказывались в тени, становились тусклыми, невыразительными. Мила охотно и много смеялась, что опять же не вязалось с Аркашиным представлением о романтическом идеале. При этом, когда она смеялась, глаза оставались неподвижными, их уголки были чуть оттянуты вниз, и потому смех казался неискренним. Впрочем, Аркаша понимал, что ещё слишком плохо знает Милу, чтобы судить о её чистосердечии. Они как-то гуляли по дворику и по набережной, Мила рассказывала о том, как занималась танцами и как повредила ногу, о том, почему она бросила институт, о своём увлечении фотографией, Аркаша читал ей стихи. Мила не поддерживала разговоров на темы философии и искусства, назвала лишь пару любимых писателей и музыкантов, но слушала Аркашу очень внимательно.

По дороге в гости Аркаша успел ещё зайти в один подвальный театрик и договориться о проведении поэтического спектакля. Его там знали и дали добро.

В автобусе слушал в наушниках группу «Кино». Особенно зацепила его на этот раз песня «Генерал». «Где ты теперь и с кем? Кто может стать судьёй, кто помнит все имена?»—пел Виктор Цой, и Аркаша

чувствовал себя этим самым разжалованным генералом, чувствовал, как врутся все связи, что родной город для него уже почти чужой, что мысленно он уже «там», но совершенно не представляет, что ждёт его в Северной столице. Ощущение пустоты, потерянности, но и небывалой лёгкости. И ещё надежду давала строчка: «Может быть, завтра с утра будет солнце и тот ключ в связке ключей». Да, именно за ключами всех тайн он и отправлялся в Питер, надеялся сблизиться со средой великих и мудрых рок-гуру, которые помогут ему распутать все противоречия, вырваться из ловушки бессмысленных, однообразных дней.

Дом Милы находился далеко от центра, в невзрачном квартале хрущёвских пятиэтажек, и это тоже настраивало Аркашу не в пользу Милы. Место, в котором она жила, грязная улица, серость однообразных домов невольно сливались с её образом и тянули его вниз. На автобусной остановке пара обшарпанных ларьков, дальше загаженный собаками скверик с тощими деревьями, растрескавшаяся асфальтовая дорожка ведёт к серой кирпичной пятиэтажке, напоминающей скорее стационар больницы, чем жилой дом.

Квартира Милы тоже произвела на Аркашу унылое впечатление: выгнувшиеся пузырями напольное покрытие, выцветшие обои, старая мебель. Конечно, Аркаша помнил, что христианство отдаёт предпочтение именно бедным, но внутренняя регистрация убогой обстановки происходила помимо его сознания, он просто ощущал неловкость, скованность, стеснённость, Мила становилась для него менее интересной. Конечно, если бы кто-то вдруг сказал ему: «Аркаша ты судишь об этой девушке по её материальному положению; если бы она была богачкой—ты бы отнёсся к ней совсем иначе»,—он бы возмутился, причём, может быть, и против себя самого, против своих невольных мыслей, оценивающих девушку вкупе с её окружением. А с другой стороны, что ему ещё было в ней оценивать? Пока что ничего интересного она ему о себе не рассказала, не проявила каких-либо особенно оригинальных черт натуры.

Из комнаты к нему вышел на трясущихся ногах дряхлый и больной пудель. Кудрявая шерсть на нём свалялась, от него дурно пахло. Пудель посмотрел на Аркашу мутными глазами и стал издавать странные звуки—не то икать, не то шипеть. «И зачем меня сюда понесло?»—с тоской подумал Аркаша.

—Граф, уходи!—прикрикнула Мила, но пудель не двигался с места, трясся и смотрел то на хозяйку, то на гостя.

Мила сначала повела Аркашу на кухню, где был выпит чай, а потом в комнату. Ещё она сообщила, что любит рассказы Эрнеста Хемингуэя, песни Шевчука и дизайн-студию Артемия Лебедева.

Аркаша пробежал глазами предложенный рассказ Хемингуэя, но не нашёл в нём упоминаний о Боге или хотя бы намёков на что-нибудь потустороннее — напротив, рассказ был предельно земной, бытовой, и Аркаша отнёсся к нему холодно.

— Я в каждом произведении искусства ищу что-то, что поможет мне решить проклятые вопросы бытия. Понимаешь? — сказал он, но Мила не поняла.

Даже в песнях Шевчука каждый из них, похоже, находил разное. Аркашу приводили в священный трепет слова «душа» и «Россия», а Мила пропускала эти слова мимо ушей и вообще заявила, что ей больше нравится сама музыка.

Она долго перелистывала перед его глазами на экране картинку с сайта дизайн-студии Артемия Лебедева, зачитывала объяснения к ним, но Аркаша остался равнодушен, а через какое-то время даже стал отчётливо ощущать к ним враждебность: бабочки, сердечки, шрифты, бабочки, сердечки, шрифты — рекламы и так слишком много вокруг, она нагло лезет в глаза, забирается в мозг, вгрызается в самую душу.

Мила показала ему коротенькие, плохо нарисованные комиксы про кота и его хозяина, при просмотре которых полагалось умиляться и сладко вздыхать, но болезненно-настороженным разумом Аркаша взламывал блестящую скорлупу этих историй.

Например, кот лежит и размышляет: «Если очень долго думать, то в голове обязательно появится хорошая идея». И идея приходит. «Пойду-ка поем», — решает кот. Или такой сюжет: хозяин что-то ищет на спине у кота. «Смотри внимательно!» — говорит кот. «Да нет здесь никаких крыльев», — отвечает хозяин. «А повыше? Я ведь их чувствую», — настаивает кот. «Ну, разве что совсем маленькие», — соглашается хозяин.

— Я бы добавил в конце ещё одну картинку, — сказал Аркаша.

— Какую?

— Хозяин выбрасывает кота из окна: «Ну так полетай!»

Мила улыбнулась, но глаза её, как обычно, остались невесёлыми:

— Почему?

— Да потому что всё, что в человеке есть, должно проявляться в поступках. Я же понимаю, о чём это: все мы тешим себя мечтами о своей необыкновенности, о своей особенной духовности, или душевности, или внутренней свободе. И эти мечты позволяют нам оставаться обыкновенными, несвободными и пустыми. Если у тебя есть крылья — докажи, взлети. Если у тебя есть талант, сотвори что-нибудь талантливое; если у тебя есть сердце, сделай кому-нибудь добро. А без поступков — это всё один треп.

— А надо обязательно творить добро?

— А как же иначе? — удивился Аркаша.

Мила слушала его и улыбалась.

— И откуда ты взялся такой удивительный? — сказала она, и Аркаша смутился, потому что он ведь тоже ещё не совершил в жизни ничего заметного.

Но он возлагал надежду на свой поэтический спектакль, который должен удивить знакомых и незнакомых.

Совершенно неожиданно Мила сообщила, что мамы сегодня не будет дома, и предложила Аркаше остаться. И всю ночь за дверью комнаты стучал по полу когтями и кашлял старый пудель...

— Возьми меня с собой, — сказала она ему утром.

— Хорошо, — ответил Аркаша, — но должен предупредить тебя, что я христианин.

— А что это значит? — спросила девушка.

— Ну, это значит, что мне не наплевать на вопросы веры, что для меня это всё очень важно, что я хотел бы жить по Евангелию.

— Понятно, — отозвалась она спокойно, словно он сообщал ей позавчерашнюю погоду.

Эта ночь не вступила в противоречие с его христианскими взглядами. Сонечка сама отказалась от него — стало быть, он ни в чём ей не изменил; а Милу он намерен взять с собой в дорогу и постарается полюбить её — стало быть, он никого не обманул и не предал. А то, что в его сердце всё ещё кровотоцит образ Сонечки... что ж, это надо исправить. От этого всем будет только лучше.

За утром наступил день. И были ещё другие дни, и новые встречи, и новые ночи. И Мила была хороша. И он был хорош — по крайней мере, так говорила Мила. А ему всё казалось, что звук соединяющихся тел похож на стук лопаты о сырую землю и что он роет глубокую яму, но не знает, как долго ему ещё копать.

Аркаша также много времени уделял подготовке спектакля. Он договаривался с участниками и администрацией площадки о времени репетиций, собирал реквизит, просил знакомых девчонок из художественного института об изготовлении необходимой бутафории, зубрил текст, репетировал даже в одиночестве. Ночевал он то дома, то у Милы. До отъезда и до премьеры оставались считанные дни, темп жизни ускорился.

Но однажды по пути к дому своей новой подруги он вдруг вышел на совсем другой остановке и направился в сторону здания музыкального училища. Он шёл не торопясь, ни о чём не думая, как будто назначил себе перекур. Училище находилось на крутом берегу реки, и потому казалось, что за ним мир обрывается, исчезает, тает в голубоватой дымке. И Аркаша повернулся к этой дымке, мысленно улета, погружаясь в неё. Он так постоял немного, а потом зашёл внутрь училища. В вестибюле он остановился, огляделся, а потом сел на одно из деревянных откидных сидений у стены, на которой висела доска с расписаниями. Здесь училась Сонечка.

Да, он позволил себе эту моральную измену, это интеллектуальное прелюбодеяние. Он не рассчитывал встретить её здесь, он лишь вдыхал аромат её присутствия. Он знал, что во время учебного года она сдаёт одежду в этот гардероб, читает эти объявления и листки расписаний, скользит взглядом по этим стенам, может быть, сидит на этом самом сиденье, а скорее всего, кладёт на него сумку, когда одевается... Это место пропитано и освящено Сонечкиным присутствием— Аркаша ощущал это. У него щекотало в животе, как бывает на каруселях для старших, когда тебя переворачивает вниз головой или сильно толкает на повороте.

Теперь он почувствовал, что бредящей столицей Сонечке он тоже представлялся не сам по себе, а в совокупности окружающей его обстановки. Вот если бы он был богат, то и обстановка была бы другой: они бы встречались не на остановках общественного транспорта и не толкались бы в набитом автобусе чтобы отправиться в кино или (изредка!) в кофейню; а он заезжал бы за ней в роскошном удобном авто, и они мигом бы добирались до шикарного ресторана или аэропорта, а оттуда— в любую точку планеты, где их ожидали бы пляжи, дорогие отели, он бы засыпал её цветами и изысканными украшениями... И всё это создало бы атмосферу романтики, лёгкости и красоты. И тут достаточно было бы просто не быть окончательным подонком или совершеннейшим уродом, чтобы вполне сойти за идеального мужчину, принца на белом коне. А так... Глядя на него, представляя своё будущее вместе с ним, она видела этот скучный провинциальный город, его тесную квартирку, его нехитрый гардероб— вот, собственно, и всё, что он мог принести вместе с собой, чем он мог обогатить её вселенную. Правда, были ещё стихи... Но что такое стихи?

Теперь уже слишком поздно
Влиять на то, что будет после:
Вынуты пинцеты, зажимы сняты, игла завершает стежок.
Всё, что стяжает мой постриг,—
Грузить уголёк на остров,
Снова и снова, и снова с нуля память стирать со щёк...

Потом Аркаша решительно встал и пошёл своей дорогой. Мила встретила его одетой в его рубашку, которую он оставил у неё в прошлый раз.

До отъезда и до премьеры спектакля оставались считанные дни, но ещё раньше состоялась запланированная дискуссия в Доме творчества. Саня Самоваров постарался на славу— актёрский зальчик оказался забит молодёжью. Ради самопиара Пердяй был способен на многое. Среди аудитории преобладали неформалы— готы, эмо, панки; правда, попадались и молодые люди, музыкальные предпочтения которых было трудно определить по внешнему виду. Готы были одеты богаче и выглядели утончённее и ухоженнее, чем

панки. Они следили за своими волосами, щеголяли чёрными нарядами и металлическими украшениями, которые не так легко достать. Весь стиль панков заключался в поношенной одежде и плохо вымытых волосах.

Аркаша вспомнил, как он встречался с одной готессой по имени Маша. Её мама была преуспевающим юристом, квартирка у них была обставлена недурно, но... Богатая обстановка сковывала и подавляла его: всё это было ему чужое, и он начал стесняться за свой рюкзачок, свои ботинки. Пару раз они целовались на кладбище, но и среди могил он чувствовал себя так же неудобно, как в сытой квартире. А когда настал классический момент и девочка раскапризничалась и перестала отвечать на звонки, он махнул рукой, ведь всё равно в его сердце жила Сонечка.

Пока Аркаша предавался воспоминаниям, Самоваров уже начал ораторствовать. В принципе, говорил он то же самое, что и в день митинга,— что запрет субкультур уничтожает свободу молодёжи, что чиновникам надо дать отпор и что нужно собирать подписи. Панки одобрительно гудели, разукрашенные лица гóтов были неподвижны и оттого казались отупевшими и безразличными. — А давайте я им в окно «молотова» подброшу!— выскочил из заднего ряда какой-то всклокоченный панк с оттопыренными ушами.

Самоваров вздрогнул, и его испуганный взгляд заметался по присутствующим. Но, похоже, он отлично знал всех приглашённых, поскольку очень быстро его глаза нащупали говорившего. — За-за такие пэ-предложения, я буду удалять с собрания!— крикнул Самоваров, заикаясь. — Ну, может, им хотя бы табличку яйцами закидать?— не унимался панк.

Но тут уж на него зашикали сидящие рядом, ушастый террорист умолк, и к Самоварову вернулось самообладание. Он перестал заикаться.

Потом на правах организатора слово взял Аркаша. Ему хотелось найти некий компромисс между субкультурами и властью.

— На каком основании чиновники хотят запретить субкультуры эмо и гóтов?— спросил он. — Они, типа, говорят, что эти субкультуры суицидальные, что, короче, молодёжь из-за них самодельства совершает,— ответил Самоваров. — А это не так?— спросил Аркаша, обращаясь к аудитории.

В ответ раздался негодующий ропот. — Конечно, нет!— воскликнула сидевшая в первом ряду девочка в розово-чёрном. — Суть эмо в том, чтобы наслаждаться жизнью, глубже чувствовать всё.

— В этом же смысл сатанизма!— откликнулся сидевший рядом увешанный металлическими украшениями парень в чёрной кожаной косоворотке.—

Люцифер учит людей ценить жизнь и свою личность.

«Сейчас он ещё скажет, что Дьявол дал людям десять заповедей на горе Синай», — раздражённо подумал Аркаша, но совладал с собой и предложил представителям субкультур учредить что-то вроде института шефства опытных и продвинутых гóтов и эмо над начинающими, чтобы разъяснить подросткам суть их субкультур и предостеречь от суицида и наркомании.

Аркаша импровизировал, заинтересованное внимание публики подхлестывало его. Он предложил осуществить пиар-ход — провести акцию «Готы подметают кладбище». Это бы привлекло внимание журналистов и создало готам положительный имидж. На этот раз даже готы заметно оживились и стали выказывать одобрение Аркашиной идее. Но Самоварову она совсем не понравилась, он по-прежнему выступал за сбор подписей и потрясал в воздухе уже заготовленной петицией. Перебивая Аркашу, он стал вслух зачитывать текст своего документа.

Аркаша был опытен в проведении публичных дискуссий и знал, как поступать с нарушителями регламента. Он застучал по столу и, повысив голос, строго оборвал Самоварова. Но и сам несколько смутился, вспомнив, что он скоро уезжает, а значит, не сможет помочь в организации акции. Он почувствовал, как струна, соединявшая его со слушателями, ослабла...

И тут, прося слова, руку поднял парень, сидевший с краешка в первом ряду. Это было выходом: пусть поговорит, а Аркаша пока соберётся с мыслями, куда же ему направить заблудшее патлатое стадо.

— Да пока вы будете пороги чиновников обивать да всякие бумажки подписывать, Пердяй себе партийную карьеру сделает и сам в пиджак и галстучек переоденется, — начал парень, обращаясь к залу, а на попытку Самоварова протестовать тут же спросил его, в какой партии он состоит.

И тут оказалось, что Самоваров состоит в партии «Яблоко».

— Солидно, — отозвался парень. — А ведь ещё года три назад ты был национал-большевиком, причислял себя к лимоновским радикалам. Вовремя ты спрыгнул с тонущего-то корабля.

Панки загудели. Сорвиголовы из нпй им были гораздо ближе, чем гладенькие мальчишки Явлинского. Готы и эмо пожимали плечами. Но и им было неприятно замешиваться в депутатно-чиновные дела. Аркаша оторвался от своих дум и присмотрелся к говорившему.

Роста среднего, но широк в плечах, одет он был просто, даже несколько официально: серый пиджак, рубашка, джинсы, ботинки. Он носу очки, волосы по сравнению с остальными участниками были достаточно короткими.

— Да вы посмотрите на него! Он даже не нефор, — закричал Самоваров, и его дребезжащий голос снова сорвался на визг. — От какой конторы тебя сюда за-заслали?

А Аркаша подумал, что если бы этот парень вздумал отращивать волосы, то они бы, наверное, у него не висели бы на плечах, а поднимались бы замысловатой курчавой папахой к потолку. Чувствовалась в нём примесь восточной крови.

— Я не считаю, что надо обязательно выделяться внешним видом. Важно, какие у тебя идеи и убеждения в голове. Вот этим и надо отличаться. Да и то — смотря от кого. От хороших людей я отличаться не хочу, наоборот, хотел бы быть на них похожим.

В его голосе, в манере поправлять очки было что-то мягкое, интеллигентское, но когда он говорил, когда прямо смотрел в глаза собеседнику, то его коренастая фигура казалось сложенной из камней, и его слова тоже казались сложенными из камней. Аркаша почувствовал под этими простыми словами некий прочный фундамент. Забавно, что он ведь думал ровно то же самое, но не смог бы сказать это так же спокойно и уверенно, как будто произносили одни и те же фразы, Аркаша и этот парень всё-таки говорили бы разное.

Парень обвёл глазами собравшихся: — Думаю, среди вас найдутся такие, которые стилем своей одежды заменили себе мозги. Отрастил человек себе хайр и будто бы такое большое дело сделал, что больше ни мозгами шевелить, ни книг читать ему не нужно. Ничего геройского в этом нет.

Тут уж начавшие было сочувствовать оратору неформалы обиделись и загудели:

— А вот ты походил бы с выбритыми висками по Верхнему Черему вечером — узнал бы, есть или нет в этом геройское!

Ушастый террорист снова выскочил с заднего ряда:

— Мне знаешь сколько раз от гопоты в морду прилетало!

Самоваров понял, что сейчас лучше не мешать народу самому расправиться с его оппонентом. — Так ведь дело не в том, чтобы по морде почаще получать, а в том, чтобы что-то поменять. Вы уж, наверное, и забыли, откуда все эти субкультуры пошли и зачем вы вообще к ним примкнули. — Чтобы стадом не быть! — промычал кто-то сбоку. — Чтобы тусоваться!

— Чтобы по кайфу!

Парень горько улыбнулся: — Чтобы по кайфу? Ну-ну... — и опустился на своё сиденье.

Тут снова оживился Аркаша. И мигом провёл своё предложение про уборку на кладбище. Неформалы стали оставлять на листочке свои контакты и расходиться.

— Ты ведь, кажется, уезжаешь? — подрулил к нему Самоваров.

— Ага, — сокрушённо кивнул Аркаша.

— Ну так давай я всё организую! В лучшем виде замутим.

Пришлось передать ему бумажку с телефонами. Самоваров вцепился в неё, как чёрт в список душ, и, опасливо шмыгнув мимо своего сегодняшнего оппонента, покинул помещение. А Аркаша, наоборот, подошёл к этому парню.

— Послушай, не обращай ты внимания на Пердя. Он того не стоит. А вообще я с тобой согласен, я тоже считаю, что внешнее не должно подменять собой внутреннее.

Познакомились. Парня звали Павел. Разговорились, решили пройтись. Аркаша рассказал пару сказочек про дедушку Габхо. Павел сразу ухватил суть и похвалил. Оказалось, что он тоже не любит притчи.

Мест для прогулок в захваченном автомобилями городе было немного; гуляя, они неизбежно оказались на том же самом острове, на котором Аркаша прощался с Жанной. Но на этот раз он был свободен от любовной жажды и полностью наслаждался природой и разговором, отдыхал от городской угловатой рекламно-витринно-гажарной мешанины, позволяя взгляду свободно путешествовать по перспективе, скользить по изгибам небольших холмов, утопать в трепете листвы, следить за молитвой трав. Упоение природой нисколько не мешало ему вникать в суть разговора: напротив, странным образом красота деревьев и трав становилась полноправной участницей беседы.

— За что я не люблю панков, гóтов, вообще все эти субкультуры — это за то, что им, в сущности, уютно и приятно в своём подвале, — говорил Павел.

— Причём каждому в отдельном, — вставил Аркаша.

— Во-во! Они даже между собой поладить не могут. А настоящий андеграунд — он ведь нужен лишь для того, чтобы накопить силы и наконец выйти из подвалов на улицы. Субкультура должна претендовать на роль основной культуры, стремиться к установлению своей гегемонии. . .

— Как христиане, — добавил Аркаша.

— Ну, например, — согласился Павел.

— Вот с этим я совершенно согласен. Если ты ве- рьши, что твои идеи правильные, а твоё искусство прекрасно, значит, ты должен стараться донести их до максимального количества людей, должен бороться за то, чтобы твои идеи восторжествовали над чужими, ложными.

— Правильно! — обрадовался Павел. — Истина — штука авторитарная.

— К чёрту толерантность! — подхватил Аркаша.

Он сразу почувствовал в новом знакомом что-то родное, ещё там, на мероприятии, когда

тот готов был ругаться сразу со всеми ради своих убеждений. Далее Павел охотно поддержал беседу о книгах и не пытался перевести разговор на мультитки или модные поп-группы. Он был ещё студентом, учился на философа; оказалось, что он знает многих из Аркашиных преподавателей с кафедры филологии и журналистики и даже пишет о них критическую статью. Аркаша приветствовал это начинание: трунить над преподавателями он любил.

От учёбы на филфаке у него осталось какое-то неприятное чувство. Ощущение, что его то ли обманули, то ли чего-то недодали, то ли просто зря отняли время и истрепали нервы. С одной стороны, его раздражал бюрократизм (ведь он впервые в жизни с ним столкнулся именно в университете): все эти сдачи и пересдачи, обходные листы, отработки, списки и галочки. И хуже всего, что именно это и было главное, а само содержание образования — писатели, их произведения и идеи, заложенные в этих произведениях, — выступало, напротив, как нечто формальное, только в качестве повода для галочек и росчерков. Поэтому, когда высшие университетские бюрократы приложили последние печати к его диплому, Аркаша почувствовал себя вышвырнутым в чужой и совершенно непонятный мир, о котором он совершенно ничего не знал и не был никак подготовлен к существованию в нём.

Что он вынес, что приобрёл за эти пять лет сидения за партой?

Сергей Иванович Буботкин (по прозвищу Бубен) лекции читал равнодушно, пытался иронизировать над писателями и произведениями, о которых рассказывал, но выходило у него скверно. Мария Ивановна Частина, напротив, восхищалась всем без разбору, каждый автор для неё был «блистательным»; правда, радовал её в основном стиль, а не суть. Татьяна Петровна Бучинская, похоже, просто выучивала наизусть учебник и полтора часа подряд шелестела сухими фактами и датами. Самым лучшим лектором считалась пожилая Фаина Эдуардовна Кальмарова: она умела рассказывать подробности жизни писателей с таким смаком, что у студентов слюнки текли. Но в конце концов Аркаша был вынужден признать, что это были именно подробности жизни — не более того. Выходило, что смысл жизни и творчества Пушкина и Ахматовой сводились к тому, чтобы галантно общаться с противоположным полом, блюсти своё достоинство на балах и вечерах и изредка эпатировать публику своим внешним видом. Ах, вечно этот внешний вид, внешнее, поверхностное!

Про Бога чаще всех говорила Лариса Сидоровна Шакирова, но её Бог был сварливым старикашкой, который требовал от женщин носить платки, а от мужчин... от мужчин тоже чего-то требовал,

раз уж Аркашин хипповый внешний вид принёс ему тройку на экзамене, к которому он был прекрасно готов. Ещё о религии говорил Кирилл Мефодиевич Иванов (по кличке Колобок), но то, что он говорил, было неувлимо, как Божье присутствие. Он заявлял, что Бог, безусловно, существует, и книги российских и даже советских авторов — тому доказательство, но когда он, казалось бы, уже подводил слушателей к порогу тайны, уже готов был проговориться, Кирилл Мефодиевич вдруг замирал и умолкал в загадочной и значительной позе, уставив вытаращенные глаза в пустоту, давая понять студентам, что он знает секрет, к которому они пока ещё не готовы. Слушая его лекции, Аркаша невольно вспоминал, как в детстве снял с ветки новогодней ёлки конфетку, развернул обёртку, а под ней оказалась другая, стал разворачивать следующую — разворачивал-разворачивал, а оказалось, что, кроме туго скомканной обёртки, там ничего и нет...

Короче, Аркаша пообещал Павлу ознакомиться с наброском его статьи, поделиться своими соображениями.

Павел понравился Аркаше, даже несколько его озадачил. Он не был похож ни на простака-Назаретца, ни на ловкача-Пердя. Кроме «лузеров» и «успешников», Аркаша также привык делить собеседников на тех, которые любят слушать его, и тех, которые любят слушать себя. Павел относился к тому редкому типу, который умеет и слушать, и говорить. Более того, говорил Павел очень просто, но убедительно, совсем не так, как университетские преподаватели, умел и увлечённо спорить. Например, они с Аркашей совершенно не сошлись в понимании слова «интеллигент».

Для Аркаши это слово в первую очередь ассоциировалось с преподавательницей Файной Эдуардовной и её кругом:

— Интеллигент — это тот, кто живёт ради соблюдения правил хорошего тона. Ложечкой они об стакан не звенят и думают, что этим все вопросы разрешили.

— Да нет же! — горячился Павел. — Это вовсе не интеллигент, а самодовольные мещане. Настоящий интеллигент должен искать истину и бороться за народное счастье.

— Я считаю, что истину следует искать в церкви. А русская интеллигенция пожелала подменить собой церковь — отсюда и все катастрофы начала двадцатого века.

— Ну уж прямо и все! И Первая мировая война тоже?

Про Первую мировую войну Аркаша ничего не знал и вынужден был уступить:

— Я бы предложил для тех, о ком ты говоришь, выбрать какое-нибудь другое слово: подвижники или, там, культуртрегеры...

— Культур-чего?

— Да, дурацкое слово, — согласился Аркаша, и оба рассмеялись.

Прощаясь, условились зафрендиться в соцсетях и тому подобное. Но, несмотря на то, что Павел показался Аркаше интересным и даже странным, а может быть, и благодаря этому, к вечеру в объятиях Милы юный поэт уже забыл о новом знакомом. Он и Мила обсуждали рок-группы, а за дверь по-прежнему бродил и мучительно всхрипывал больной пудель...

Отзвучали неуверенные приветственные аплодисменты, сцена погрузилась в темноту, и в этой темноте заиграла музыка. Мягкое звучание электрогитары мерно раскачивалось, перекачивалось, как шарик, и каждый звук тянул за собой эхо, а потом на всё это наплыл синтезаторный фон... Появился тусклый свет, на сцене стали видны небольшой стол и три стула. На столе стояла бутафорская чаша. Гитарный перебор стал чуточку быстрее, и в пятно света вступили трое, последним из них — Аркаша. Они сели за стол с трёх сторон и чуть склонили головы, глядя не то в чашу, не то в себя. В их фигурах чувствовалось спокойствие и умиротворение. Потом Аркаша взял стул и сел чуть поодаль, а те двое достали шахматную доску и стали расставлять фигуры, но все фигуры были одного цвета.

Пока они играли, Аркаша взял микрофон и постарался разобраться в себе, понять, куда делось чувство покоя и откуда взялся страх, заставляющий искать забвения в обществе девушек, а счастья — на другом конце страны. Рассуждая об утраченном рае, пытаясь найти всему потустороннее объяснение, он читал отрывок написанного им фантастического романа из жизни ангелов.

А пока он читал, те двое вели свою бессмысленную партию. Наконец они закончили, закончили и Аркаша. Музыка сменилась на нечто более электронно-ломанное, но под треском сэмплов бился мерный пульс. Двое ушли, а Аркаша заметался по сцене в поисках маркера, который он забыл за кулисами. Наконец, он отыскал шариковую ручку и стал читать стихи, в паузах рисуя на выставленном планшете падающие перья. Так он и представлял свою жизнь — лёгким пёрышком во власти немилосердного ветра. Нынче здесь, завтра там, ничего устойчивого, ничего постоянного, пока не успокоишься в земляной пыли.

Я был белою ленточкой
На ледяном берегу.
Я был серым кроссовком,
Уставшим скрипеть на бегу.
Я был чёрной бедою
В руках одиноких ночей,
Я летел над водой...
Я летел над водой...

Аркаша замахал руками, разрывая невидимые наручники, взлетая, распинаясь на невидимом кресте. Всё у него было невидимое, неосязаемое. Человек-ветер — назвала его однажды Жанна.

Его глаза привыкли к темноте, и во время чтения он присмотрелся к зрителям, ища в их взглядах отклика и поддержки. Он не увидел в зале ни Сонечки, ни Жанны, на что тайно надеялся. Миле он почему-то не сказал про концерт. Неожиданно он разглядел в числе присутствующих готессу Машу, с которой когда-то встречался, но возле неё сидел парень с длинными чёрными волосами, и взгляд Аркаши не остановился на ней.

Слепым дождиком заплакало фортепиано, потянуло за собой нити скрипки; Аркаша подошёл к столику и положил на него тетрадку. Он делал вид, что читает из неё. Но на самом деле он помнил все свои стихи наизусть — от первой до последней строчки. Эта тетрадка была нужна ему лишь для того, чтобы унять дрожь в руках. Отыскав, наконец, около колонки синий маркер, он нарисовал на другом планшете дерево с крыльями вместо веток — ещё один образ, найденный в ходе размышлений о духовной свободе. Особенно старательно он прорисовал корни...

В завершение Аркаша нарисовал у себя на щеке синюю точку в качестве намёка на свой самый первый поэтический «хит», с которым у многих ассоциировалось его имя: «У тебя под глазом синенькая точка...» — но само стихотворение читать не стал.

Музыка пропала, фонари погасли, зрители стали ему не видны, и уже не с ними, а с шевелящейся темнотой за пределами света свечи он стал делиться своими воспоминаниями о первых страшных снах:

— ...Память пробирается в прошлое, карабкается во тьму, подкрадывается всё ближе к первоначалу... Вокруг темно, и поэтому страшно закрывать глаза. Зачем выключили свет? Ведь именно в темноте, когда зрение невольно начинает подсвечивать предметы и от этого белёсого подслеповатого света их контуры становятся расплывчатыми, словно пушистыми, когда за окном синие ветки переплетаются с собственными тенями... Тогда... Тогда приходят все они. Странные обитатели полусна. Если закрыть глаза, то бледные пятнышки вытряхиваются из-под век и превращаются в маленьких юрких зверьков. Открываешь глаза — а они уже заполнили комнату. Это хорьки калба. Нужно срочно закрыться одеялом и подоткнуть его так, чтобы не было отверстий. Иначе эти странные ловкие хорьки доберутся до тебя. Но чем же это опасно? Никто не знает, что будет дальше, и всё же чутьё, само естество твоё шепчет: «Берегись!» И так со всеми обитателями ночной полуяви. Они не такие, как ты, и любой контакт, соприкосновение навсегда изменят тебя, разлучат с солнечным миром. Именно в темноте понимаешь, насколько

крепко ты привязан к солнечному свету, к миру реальности. Но даже одеяло не уберёжет тебя от Синего Теонтика, Богонуни и уж тем более от Герцогини. Она широкая и приземистая, со странным аристократическим головным убором и прозрачной мантией. Вся серая и неясная, она пересекает комнату на четырёх вращающихся квадратных ножках-веретёнцах. И тут уж одно спасение — громко закричать и позвать на помощь.

Затем он зажжёт тусклый фонарик и стал окрашивать отдельные части обстановки голубоватым светом, отчего они становились мёртвыми, призрачными. Ему нравился синий, цвет духовности и непостижимых тайн, за то, что он отрывал от действительности, затягивал, уносил в какую-то высь или глубину, помогал замкнуться в себе. Но, спускаясь, синий цвет неизменно переходит в чёрный; из этой-то черноты в его неземную синеву стали входить уродливые существа, искажённые, покаленные, с вывернутыми руками и ногами, лица их были скрыты подобиями противогазов или масок. Они слепо натыкались на столы и стулья, ища его, а он, скованный страхом, не мог отвести от них своего дрожащего фонарика. Они приблизились к нему, и тогда он назвал их «злых-съедобных» и выключил фонарик. Разминувшись с ними в полной темноте, он снова зажжёт синий огонёк и бросил его за кулисы...

А когда снова смог видеть, он был уже один. Аркаша подошёл к краю сцены и продолжил свой рассказ:

— А потом зажжётся тёплый мандариновый свет ночника, и добрый мамин голос спросит: «Чего ты испугался, глупый?» И всё ночное и страшное исчезнет, потому что комнату наполнит мир маминой доброты. Она посмотрит сверху своими усталыми глазами (впрочем, что ты сейчас можешь понимать о её трудностях и печалях?), возьмёт тебя на руки, поднесёт к окну и станет укачивать, тихо напевая. И мир за окном будет раскачиваться — то исчезать за белыми кружевами, то снова возникать из тюлевого тумана. Снаружи глеют фонари, лишь мелькают огни проезжающих автомобилей, да светофор роняет зелёные и красные капли на их скользкие спины. Цветы на подоконнике поднимаются выше изуродованных деревьев вдоль автострады, и оттого кажется, что вся улица утопает в зелени. И слышится песня об узраненных людях, которые идут по горам и долинам к далёкому морю... и несут с собой знамёна... и входят в города, которые встречаются им на пути. Огоньки шевелятся, подрагивают, сливаются, текут ручейками, и вот уже ты спишь, но не видишь снов, потому что не накопил для них достаточно впечатлений...

Зазвучала колыбельная без слов, напетая для него одной знакомой вокалисткой. Аркаша сел под рисунок с падающими перьями так, чтобы

получалось, что они сыплются на него, а сам всё вглядывался в зал, ища того, кому именно он будет рассказывать оставшуюся часть истории. Кто-то сидел, скрестив руки, как бы защищаясь от того, что происходило на сцене, большинство лиц на первом ряду не выражало каких-то ярких и ясных чувств, задние тонули во мраке. Потом он заметил одного юношу, выглядывавшего со второго ряда и ловившего происходящее широко распахнутыми глазами, и решил, что будет обращаться поочерёдно то к нему, то к Маше.

Когда фортепианные переливы стали тревожными, он произнёс следующие строки:

Не открывай коробочку,
Под крышку не смотри.
Не открывай коробочку:
А вдруг там чёртик внутри?

Он нащупал невидимую ниточку и стал тянуть её на себя, вытягивая нечто из аудитории, и, пока он говорил, со злорадным удовлетворением видел, как тень испуга пробежала по некоторым лицам. Он умел, когда хотел, напустить туману, нагнать страха на впечатлительных, даже Сонечка порой пугалась его, считала способным на что-нибудь эдакое. Вот тут и наступил самый подходящий момент для кульминации первого действия: динамики исторгли нечто напоминающее призыв инопланетного фюрера, и под марш электронных басов поэт выхватил из-за пазухи кровоточащее сердце, продемонстрировал его залу, а потом шмякнул о подмостки. Аркаша упал на колени и закрыл лицо руками, согнувшись под тяжестью музыки, и сразу из-за кулис выскочили злобные-съедобные в своих масках-противогазах с болтающимися шлангами и стали пинать сердце друг другу, а наигравшись вдоволь, принялись крушить и разбрасывать всё на сцене; измазав руки в синей и красной краске, испачкали рисунки на планшетах, превратив их в подобию авангардных картин; разыскали тетрадь со стихами и стали рвать её, засыпая клочками зрителей. Когда же последний исписанный лист взвился над залом, свет погас, и Аркашин голос объявил антракт.

Когда начался второй акт, он вышел с бутылкой вина, осмотрел učinённый на сцене разгром, подобрал с пола несколько измятых страничек, вернул стол в надлежащее положение, придвинул стул и стал пить, перемезая глотки с обрывками монолога, бессвязного, как будто в бутылке и было настоящее вино. Зрители следили пристально и слушали внимательно, особенно готесса Маша и тот мальчик во втором ряду.

— Ах, как искал я своё имя, а находил чужие ярлыки...— говорил Аркаша.

Он стремился рассказать о том, как трудно разобраться в себе и во всём окружающем, как

хочется и как трудно добиться понимания, как в бездействии и одиночестве вянут душевные силы, как хочется быть чем-то большим, чем тело, обречённое на смерть; и злобный-съедобный хитро выглядывал из-под стола.

Далёкий невидимый трубочка затрубил всеобщий отбой, переходя на печальную и красивую мелодию. И, в очередной раз смирившись с утратой всех своих прежних loves, Аркаша заговорил, подолгу задерживая взгляд на лице растроганной готессы:

— Хорошо прощаться с любовью весной, когда краски мира нежны и свежи, когда природа тянется к возрождению. Как хорошо в такие дни наслаждаться самой жизнью. Пусть любовь ушла, но осталось это чистое небо, это тёплое ласковое солнце, эта изумрудная листва на деревьях. И кажется, что всё ещё впереди, что жизнь обещает много удач, приобретений и завоеваний. Кажется, что любовь прямо-таки растворена в окружающем воздухе и ты можешь взять столько, сколько тебе нужно в любой момент. Твоё сердце готово любить весь мир, зачем же заикливать его на одном человеке? И уж совершенно глупо прощаться с любовью осенью или зимой. Ещё секунду назад ты был счастлив, и тебе было тепло. А потом тебя выталкивают из этого спасительного уютного пространства, и ты уходишь прочь, а впереди только суета серых снежных хлопьев или стены дождей. И куда бы ты ни пошёл отныне—езде тебя ждёт одно и то же: суета снега или стены дождей...

О Маше он бы сегодня и не вспомнил, если бы не увидел её в числе зрителей, но в данную минуту ему хотелось произнести хоть кому-то со сцены то, что он хотел и не сумел сказать Сонечке.

И пока он всё это говорил, а труба с синтезатором состоялись в лиризм, злобный-съедобный заклеил планшеты свежими листами, как будто крылатое дерево и осыпавшиеся перья и вправду занесло снегом, а потом стал на одном из белых листов рисовать кирпичную стену, рисовал, как будто строил, рядами снизу вверх по одному кирпичику. Аркаша всё говорил и говорил, и каждая его фраза превращалась в дополнительный кирпич в стене. Так с ним и получалось всегда: красивые слова не помогали ничего вернуть, ложились между ним и Сонечкой пусть красивыми, но прочными и высокими стенами.

И вот он махнул рукой на всё, отрёкся от попыток что-то понять и наладить:

Самая печальная история:
Мне слепили запасную голову.
Старую размазало по городу,
Унесло на волю вместе с облаком...

Но музыка, проделав полный круг, уже снова возвращалась к той мелодии, с которой всё началось, только теперь она сделалась тревожной,

накапливала силы, чтобы прорваться криком, задумчивые блуждания гитары превратились в испуганные метания, чистый звук исказило, переключило в скрежет, и набравшие сил и смелости злобные-съедобные кинулись в последнюю атаку, появившись сразу с двух сторон, отрезая пути к отступлению. Тогда Аркаша схватил планшет с чистым листом, поставил его в центре сцены и поспешно нарисовал вокруг себя и него меловой круг. Злобные-съедобные наткнулись на границы круга, но не остановились—принялись описывать кольца, не сводя с поэта окуляров своих масок. Музыка изливалась грязным потоком, а Аркаша, затравленно оглядываясь через плечо, принялся рисовать на чистом листе солнце с изгибающимися языками пламени по краям. Он умел. Он специально тренировался.

Оглянулся на зрителей, но уже не различил лиц—слишком важный и волнующий был момент, итог задуманного ритуала: всё смазалось в единую серую массу, злобные-съедобные сорвали с себя маски, и на секунду Аркаша увидел под ними лица его ночных посетителей—Сатанессы и её спутника. И спутник впервые заговорил с Аркашей:— Мы встретились и больше чем подружились—сроднились, как роднятся люди в одной великой цели. Не так ли?

И Аркаша коснулся протянутой ему маски, и человек, схватив поэта за руку, выдернул его из спасительного круга, а сам занял его место. Злой человек встал у планшета так, что нарисованное солнце за его спиной выглядело нимбом, и словно бы впервые вздохнул полной грудью, а Аркаша остался на краю с маской в руках. Он постоял немного в раздумье (хотя какие могут быть раздумья под такую тяжёлую музыку?) и натянул странный противогаз. Похоже, что дышать без него можно было только внутри круга. Тем временем злобные-съедобные уже поменялись местами, и женщина, прикрыв свои русалочьи глаза, жадно дышала, сунув голову в нарисованное солнце.

Наконец настала очередь Аркаши, и злобные-съедобные, нехотя и будто бы даже с горечью, снова напялили маски и вышли из круга. Но поэт не стал притворяться святым: он вдруг почувствовал, что затеял весь свой спектакль не ради благосклонности потусторонних сил, а ради любви и понимания простых живых людей, которые собрались в зрительном зале. Он встал на колени и нарисовал у солнца собственное лицо. И у серой массы перед его глазами тоже проступили лица, он почувствовал взгляды, пристальные, живые, заинтересованные. А злобные-съедобные снова превратились в его брата Сашу и бывшего однокашника (и вечного студента) Женю, которого все называли Джоном.

Вот только солнечный лик он нарисовал перевернутым—со ртом наверху и глазами вниз.

Почему так? Он видел растерянность зрителей. Конечно, у него было заготовлено объяснение: что-то про то, что в потустороннем мире всё всегда наоборот; но на самом деле ещё больше ему просто хотелось удивить, озадачить зрителей, пошатнуть их жвачную самоуверенность, заронить в них сомнения и побудить к поиску.

И, по крайней мере на мгновение, ему это удалось. Когда поток тяжёлой музыки провалился в ад, после мгновения полной тишины зазвучали светлые аккорды, и все трое вышли из образов и из-за кулис на поклон, зал взорвался аплодисментами, многие встали, как в настоящем театре. Готесса Маша, кажется, утирала слёзы.

Приёмы странной игры, которую Аркаша разыграл перед нею и другими зрителями, запутали её, сбили с толку и в итоге заставили просто подчиниться, поддаться логике разворачивавшегося действия. Более того, строчки произведений, образы, озвученные и показанные со сцены, откликнулись на нечто дремавшее в её голове: страхи, детские воспоминания. Ей даже показалось, что в ней пробудилась давно забытая тоска, которую она испытывала на пороге юности, когда она была стеснительным, неуверенным в себе подростком.

Когда, всё ещё находясь под впечатлением от спектакля, Маша вышла из тёмного помещения на улицу, ей показалось, что перед ней сияет не настоящее, а то, нарисованное Аркашей, солнце, даже город показался чуточку незнакомым. Она не разрешила своему кавалеру провожать её и по дороге домой в автобусе сочиняла некое подобие письма Аркаше, а может, просто мысленно говорила с ним, с собой или с персонажами спектакля.

Она вспоминала, как взрослый мир отталкивал и пугал её именно потому, что, как ей казалось, не отвечал ожиданиям, смутным надеждам романтической души. Ей хотелось, чтобы жизнь напоминала прочитанные в школе романы Тургенева и старые фильмы-сказки, чтобы в ней было побольше доброго, возвышенного и просто красивого: чтобы девушки ходили в длинных платьях, чтобы парни были галантны и элегантны; ну, или просто хотя бы чтобы не приходилось лгать и иметь дело с теми, кто тебе неприятен.

Но как-то так выходило, что детские фантазии и надежды—это всё не так важно, а вот притворяться и делать то, что не нравится,—просто необходимо. Приходилось постоянно лгать на учёбе, и вот теперь нужно было снова лгать для устройства на работу. И, в общем, это даже перестало её раздражать, стало настолько привычным, что уже прекратило быть ложью, потому что та, юная Маша давно и надолго уснула, а эта, новая, которая сначала была просто маской, давно уже привыкла жить сама по себе. А теперь юная мечтательница словно бы пробудилась и осмотрелась вокруг удивлённым взглядом.

Маша смотрела в своё отражение на автобусном окне и барабанила пальцами по стеклу. Всё не то, всё не так... Но что же теперь прикажете делать? Порвать свой диплом экономиста? Отказаться устраиваться на работу?

А потом она вернулась в свою привычную квартиру, поела, пообщалась с матерью, обсудила ближайшие планы, принялась за уборку, а потом позвонил её нынешний кавалер и пригласил на концерт, и маленькая мечтательница внутри сперва задремала, а потом и заснула крепким сном, а после концерта готической группы воспоминание об Аркашином спектакле поблекло и частично растаяло, оставив в памяти лишь отдельные эпизоды.

С наиболее впечатлительными зрителями произошло нечто подобное, но в ещё меньшей степени, ибо у них-то романа с Аркашей никогда не было.

Пожалуй, наиболее длительное воздействие представление оказало на самого Аркашу. Для него тоже зажглось нарисованное солнце. Вместе с поэтом из театра вышли исполнители роли злых-съедобных Саня и Джон. У Сани были «тоннели» в ушах и на плече татуировка в виде механического дракона. На этом описание его личности можно считать исчерпывающим. Про Джона тоже не скажешь много, поскольку всё в нём было для Аркаши загадкой: и его вечная вялость, и скептицизм при остром уме и живой фантазии, и нежелание серьёзно заниматься творчеством при бесспорном таланте, и постоянная критика Аркашиных начинаний, и готовность пить в компании полных ничтожеств, и то, почему, несмотря на всё это, он согласился участвовать в Аркашином спектакле. Поэт тянулся к Джону, искал его общества, а тот то открывал ему душу, делился своими оригинальными мыслями, то вдруг становился презрительно-замкнут, и это мучило Аркашу, пожалуй, не меньше, чем разлад с Сонечкой.

— Вот это было круто! Эх, жалко, что ты уезжаешь, а то бы можно было ещё что-нибудь подобное замутить! — радовался Саня (кстати, это была его идея выйти на сцену спиной вперёд, нацепив противогаз на затылок, чтобы получить «вывернутого» монстра).

— И этим ты собрался покорять столицу? — усмехнулся Джон.

— А что? Чем это хуже мамоновских моноспектаклей? Он там вообще просто туда-сюда по сцене бегаёт, кривляется да стихи читает.

— Ну, к Мамонову ходят не ради его кривляний и даже не ради стихов, а потому, что это Мамонов. Он уж заработал себе капитал доверия и любви народной. Они за те же деньги согласились бы просто за ним в туалете подглядывать. А может быть, за это ещё и доплатили бы. А что он там вещает, мало кого волнует.

— И что же, по-твоему, должен делать начинающий автор?

— Ну, насчёт переезда — это, наверное, правильно. Вон один писатель, забыл какой, продал квартиру в своём городе, купил какую-то халупу, на самом краешке Москвы и год за годом таскался на тамошние литературные тусовки. Ну а через несколько лет и правда стал московским, то есть настоящим, писателем. Всё-таки как ни крути, а у нас тут задница. А все большие дела делаются только через Москву или Питер.

Аркаше невольно вспомнилась притча о двух мышках в молоке, которую часто рассказывали в Интернете или в разговорах. Две мышки упали в молоко и стали тонуть. Одна попробовала выбраться — не получилось, тогда она решила, что ничего не поделаешь, сложила лапки и утонула. А другая, несмотря ни на что, продолжала барахтаться изо всех сил. В итоге она взбила молоко в сливки и выбралась наружу. Но он вообще не любил притчи, и чем-то ему не нравилась и эта. То ли тем, что вторая мышка бросила первую, то ли тем, что они изначально не попробовали выбраться вместе, то ли тем, что спасение стало результатом бессмысленного барахтанья, а не здравого рассуждения и поиска, то ли вообще тем, что люди приравняются к мышам.

На ходу они с Джоном обменивались вялыми возражениями: собственно, всё это уже было говорено-переговорено, их спор давно упёрся в границы того, что было в их головах оформлено в слова, а дальше уже начинались смутные ощущения, которые сами они не могли ещё выразить, но которые мешали им договориться. Саша просто вертел головой туда-сюда и не вникал в спор. Он уже давно решил стать диджеем, а остальное его мало волновало.

От разговора их отвлёк звук синтезатора. На углу стоял старичок и тыкал в клавиши. Собственно, основную работу за него делала автоматическая минусовка, дедок лишь периодически добавлял от себя по паре нот (Джон сам был клавишником и понимал в этом толк). У его ног стояла коробка для подаваний.

— Кстати, к разговору о творчестве, — мрачно усмехнулся Джон.

Дедок повторял одну и ту же несложную мелодию, словно в компьютерной игре. Одет он был достаточно прилично: рубашка и брючки были хоть и старомодны, но отутюжены, на голове соломенная шляпа с заломленным краем. И всё же сам он производил жалкое впечатление: тщедушный, с потемневшей кожей, он как-то измученно улыбался и пытался приплясывать. Когда парни проходили мимо, он и вовсе нацепил очки с приделанным пластмассовым носом. Аркаша не выдержал и выгреб из кармана мелочь. Он отдал её не за приятную музыку, а из жалости к старику.

Сашка тоже чего-то кинул. А Женька только загадочно улыбнулся: мол, вот такая подлая штука жизнь. И всем было понятно, что не от хорошей жизни и не удовольствия ради этот дедок приплясывает в жару посреди улицы и заглядывает в глаза прохожим, выдавливая из себя улыбку.

«Вот поэтому и еду. Потому что нельзя плыть по течению, потому что надо совершить какой-то ход конём, иначе эта жизнь сожрёт и выплюнет нас, заманит в ловушку. Да мы уже в ловушке», — подумал Аркаша. Вот только никак не мог понять, в чём заключается эта ловушка.

— Чтобы пробиться, надо делать не мелодекламацию, а рэпчик, как у «Кровостока» или у рэпера Сявы, — сказал Джон.

Аркаше как будто плюнули в лицо.

— Эту похабень?

— В порядке юмора.

— Ни в каком порядке я с этим связываться не хочу. Эх ты... А как же «Колыбель зари»?

Аркаша говорил о песне, точнее, даже о романтическом образе, который Джон придумал ещё в школе, — колыбель зари, сделанная из крыльев всех сгоревших мотыльков. Аркаше очень нравились этот образ и музыка, которую Женька написал для песни... которая так никогда и не появилась. Он и любил-то Женьку именно за этот романтизм и всё ждал от него осуществления прекрасных и возвышенных замыслов. И вот теперь такое предательство. Неужели ради какого-то паршивого успеха можно вывернуть наизнанку свою душу? Воспеть то, что раньше презирал, и предать то, что боготворил...

Холодно попросившись с Джоном, он решил, что заберёт образ колыбели зари себе. Заря, рассвет и всё прекрасное, что они собой символизируют.

В автобусе он читал пьесу «Тот, кто получает пощёчины» своего любимого Леонида Андреева. Благодаря сегодняшнему творческому успеху, этот раз чтение Андреева не приводило его в ужас, а навевало тихую грусть. Клоуны и акробаты выясняли между собой отношения, но Аркаша-то отлично понимал, что пьеса вовсе не про цирк, что всё это — метафора человеческого общества, в котором одни забавляют других за деньги. «Всегда так было и так же будет, — рассуждал про себя Аркаша. — Всегда были деньги, и жизнью распоряжались те, у кого их больше. Почему так выходит?» И он сочувствовал размалёванным клоунам тогда, когда под улыбающимся гримом они скрывали слёзы или злость.

Вспомнились слова песни:

Я видел плачущего клоуна,
Он не казался мне смешным.
Колпак и туфли, фрак и бабочка
Да розовый печальный грим...

Наверное, образ клоуна тем и хорош, что он делает очевидной фальшь улыбки современного человека, её нарисованность, приклеенность. Люди с вездесущих рекламных плакатов скалятся так, будто им вырывают ногти. А клоун всем своим нарочитым видом говорит: я смеюсь потому, что вы меня хотите видеть таким, но знайте — это ложь.

Чем Аркашу привлекали безрадостные творения Леонида Андреева? Не только тем, что они не закрывали глаз на трагизм бытия, но и тем, что ни автор, ни его герои не смирились с установленным порядком вещей, даже если чувствовали свою неспособность что-либо изменить. «А где ты видел красавицу в лохмотьях? — вопрошал тот, кто получает пощёчины. — Не этот купиш, так другой. Всё равно всё прекрасное покупают они». И в этом слышалась не то скорбная жалоба, не то гневное обвинение в адрес тех, кто покупает себе всё... — И всё-таки вдохновение не купишь! — решил Аркаша и с удивлением обнаружил, что сказал это вслух.

К счастью, у него зазвонил телефон и избавил его от чувства неловкости.

Звонил отец и предлагал прямо сейчас ехать на дачу к старикам — Аркашиным бабушке и дедушке, поглядеть перед поездкой.

— Завтра вечером я тебя привезу, у тебя будет целая ночь на сборы!

И Аркаша согласился. Сразу по ряду причин. Он любил внезапности, любил куда-то ехать (даже больше, чем приезжать), любил общаться с людьми, любил деда и, по-своему, отца. Приятно было сорваться куда-то с уже намеченного маршрута. Поэтому он убрал Леонида Андреева в рюкзак и выскочил из автобуса. В вечерних сумерках они уже катили на отцовском автомобильчике вон из города.

Впрочем, город их выпустил не сразу: на выезде начались пробки, и какое-то время они неторопливо плелись через спальные районы, утыканные многоэтажками. Квартиры в них покупались вяло, горели лишь некоторые окна, но строительные компании не могли позволить себе передышку, и продолжали круглосуточно рыть котлованы, вколачивать сваи, громоздить этаж на этаж, бетонировать небо.

Там, куда ещё не дотянулись застройщики, начиналась территория мелкого бизнеса: вдоль дороги побежали ларьки и конторы: шиномонтажки, автосервисы, продажа бруса, минимаркеты, дешёвые отели. Прямо на обочине кто-то торговал арбузами и грибами, как будто кого-то могли прельстить продукты, пропитанные бензиновой гарью.

— Если бы мы ехали утром, то застали бы ещё один товар, — проговорил отец, искоса глянув на Аркашу.

— Цветы? — не особенно задумываясь, откликнулся тот.

— Нет,—покачал головой отец,—рабочие руки. По утрам тут обычно стоят подёнщики.

— М-м,—отозвался Аркаша.

Ему как-то сразу стала неинтересна эта тема, но отец после короткого молчания продолжил: — Те, у кого профессия востребованная, особенно в естественнонаучной области, конечно, так стоять не будут. А те, у кого не востребованная...

— Особенно в гуманитарной области,—продолжил за него Аркаша.

— Особенно в гуманитарной области,—с нажимом повторил отец, давая тем самым понять, что хоть сын и предугадал его мысль, от этого она не потеряла своей важности и актуальности, а коль скоро отец прав, то нелишне будет выслушать его до конца,—те вынуждены приспособляться и продавать себя на тех условиях, которые предложит заказчик. Ты пойми, что за сотни лет ничего не изменилось, миром, как и пять, и десять веков назад, правят бандиты. Технических специалистов они вынуждены уважать, поскольку не могут без них обойтись, а всё остальное для них—из ряда развлечений. То есть, когда они поделили между собой добычу, сами наелись до отвала, они могут кое-что кинуть скоморохам, которые их развлекают.

— Ты так об этом рассказываешь, как будто такое положение дел тебе нравится.

— Нравится или не нравится, об этом нас с тобой никто не спрашивает. Есть определённый порядок вещей, и с ним надо уметь жить. Это закон джунглей: кто не приспособливается—тот погибает.

— Я уж лучше погибну,—обиженно проговорил Аркаша.

Ему и вправду казалось, что лучше умереть, чем жить по тем правилам, которые провозгласил отец. В мире, который он описывал, было нечем дышать. Аркаша невольно припомнил, как отец играл с ним много лет назад. Это было одно из самых ранних Аркашиных воспоминаний: огромный, дышащий жаром отец берёт его на руки и начинает тискать. Маленький Аркаша задыхается, он боится, что отец придавит его, а главное, он никак не может вырваться, потому что отец более силен и ловок. Аркаша ревет и рвётся прочь, отец хохочет...

— Говорил я тебе, что надо было тебе на физика поступать. Но ты ведь жизнь лучше меня знаешь,—продолжал между тем отец, но уже жалующимся голосом, как будто его незаслуженно обидели.—Ну а если тебе непременно хотелось писателем становиться, так надо было в столицу и поступать. Ты пойми, в университете главное—отнюдь не знания, которые ты там получаешь, а тусовка, частью которой ты становишься.

— Ну, вот видишь, еду,—сказал Аркаша, просто чтобы хоть чем-то успокоить отца и завершить нудный, давно уже надоевший разговор.

— Так теперь поздно уже! Впрочем, ладно...—сказал так, словно рукой махнул: мол, чёрт с тобой, живи как знаешь.

Дальше ехали молча.

Дача бабки и деда располагалась аккурат посередине между двумя станциями электрички. Дед всё время сетовал, что приходится одинаково долго топтать от любой из остановок, даже собирался писать письмо мэру с предложением сделать ещё одну станцию между этими двумя, но так ничего и не отправил—то ли застеснялся, то ли не совладал со стилем.

На веранде домика горел свет, дед встретил их на крыльце. Аркаша обратил внимание, что на столике лежит большая тетрадь, исписанная до половины.

— Что пишешь?

— Так, ничего,—ответил дед и закрыл тетрадь.

Аркашу уложили наверху. Он долго не мог уснуть: ему казалось, что это не листья шумят за окном, а дед шуршит своей тетрадкой. И Аркаша всё ломал голову, о чём он там пишет.

Глухая сибирская провинция. Посёлок Усть-Кутский. Место живописное: здесь речушка Кута впадает в Лену, горизонт изогнут покрытыми тайгой холмами. Климат как раз для широких натур—с морозной зимой и жарким летом. Но до ближайшего крупного города, Иркутска, чуть не тысяча вёрст по бедовым российским дорогам, вечно разбитым распутицей.

И хотя некоторые говорят, что сердце России находится в глубинке, всё-таки её судьба вершится в столице, и не может не рваться туда, на запад, молодой, мятежный, ищущий дух.

Правда, сейчас особое время. Лучшие умы, самые светлые души удаляются из столиц. Удаляются не по своей воле. А тут, в Усть-Кутском, старинное не место ссылки. На здешнем солеваренном заводе трудились ещё пленные поляки, участники Январского восстания. И разве сам он ждал чего-то другого, когда вступил в Южно-русский союз рабочих, а потом и стал одним из его руководителей?

Ссылка для многих стала не только университетом, но и суровым испытанием, проверкой. Впрочем, он уже испытан многими и многими месяцами тюрьмы, и они не сломали и не согнули его. Даже в тюрьме он пользовался любой возможностью, чтобы читать книги и излагать на бумаге свои мысли. Записи у него отобрали, но сохранилось главное—жажда мыслить и формирующий литературный стиль.

Чем же после всего грозит ему ссылка? Изоляцией? Несвободой? Он прошёл одиночное заключение. Голодом и бытовыми трудностями? Он не боится труда, и кроме того—с ним теперь Александра, такая же заключённая, ссыльная, товарищ

по несчастью и борьбе. Они обвенчались в заключении и теперь будут преодолевать ссылку вместе. Он влюблён, как только может быть влюблён юноша, едва вырвавшийся из тюремных стен, и он уважает свою молодую супругу, они больше чем влюблённые — они соратники по борьбе. Возможно, в их соединении был элемент здравого расчёта: в маленькую деревушку двух единомышленников не отправят, а вот для супругов, пожалуй, сделают исключение, ведь чиновники так уважают церковные таинства. И всё же их расчёт гораздо возвышеннее и духовнее мещанской корысти, направляющей иные браки, подсчитывающей размеры состояний и приданого, сличающей социальные статусы и даже внешнюю красоту исчисляющей в звонкой монете, подменяющей духовную близость близостью двух бездуший. И наконец, разве Александра не хороша собой? Небольшая, изящно сложенная, с правильными чертами лица, большим чувственным ртом, высоким лбом, может быть, чуть нависающим над глазами, отчего они смотрят словно бы из тени. Но особенно хорошо это лицо, когда Александра увлечена спором, когда говорит и думает о том, что её волнует. Тогда каждая чёрточка светится, с лица слетает усталость, которую так старается привить обывателям российское правосудие. Оно жаждет растоптать, стереть человека, сделать его тупым и равнодушным.

С наиболее слабыми это удаётся, люди начинают пить, замыкаться в кругу обыденных, животных проблем. Иные не сдаются, но и не выдерживают — сводят счёты с жизнью.

Белое безмолвие укрыло весь мир, белое безмолвие сыпалось с небес и выходило вместе с дыханием, ладони снега были готовы в любой момент собрать в горсть чёрные избёнки, в которых ютились люди. И всё-таки огонь его сердца был сильнее. Юноша вошёл в избу, которую они недавно заняли. Обстановка была скудна: лавка, стол, печь, кое-какая посуда. Его взгляд задержался на единственных предметах его любви, источниках силы и бодрости — жене с десятилетней дочкой и двух стопках книг. — Значит, решил? — спросила Александра.

— Да, буду писать.

— В счетоводы больше не собираешься? Смотри, Энгельс этим не брезговал, — её губы трогает улыбка.

— После месяца работы у Черных, у этого торгового феодала? — он невольно передёргивает плечами. — И кроме того, Саша, больше никого подходящего в округе нет: этот паук всё прибрал к рукам, а с ним мы уже рассорились из-за этой истории с краской.

— Подумаешь, один раз ошибся в цифрах.

— В их мире ошибок не прощают. Хотя сам Черных, я ведь говорил тебе, даже не умеет своего имени написать, ставит крестик в бумагах. Нет, с миром

капитала у нас война. Поверь, в журналистике и сумею заявить о себе, и обеспечу нас всем необходимым. Буду писать, — ещё раз твёрдо повторил он. — В «Восточное обозрение»?

— Ну, это для начала. Туда можно отправлять политические заметки и рецензии. Но надо осмотреться, должны быть ещё какие-нибудь газетёнки. — «Восточное обозрение» — наиболее культурная газета. Там публиковались и Брешковская, и Зайчневский с Коваликом. Вряд ли другим газетам понадобятся статьи на философские и социальные темы.

— Зайчневский? А что он там публиковал? Начну с «Обозрения», конечно. А затем будем штурмовать другие. Всем ведь нужны фельетоны, информация с мест. Почему бы жителям городов не поинтересоваться, как живут обитатели кормящих их деревень? Разве наш Усть-Кут не типичен? Взять хотя бы высокую смертность детей и подростков.

Он заметил, как Александра невольно прижала к себе дитя.

— Не горюй, Саша, не пропадём. А там, глядишь, нам позволят-таки перебраться на юг, поближе к нашим, товарищи поддержат, да и поле работы там пошире. Кстати, прошлой ночью я уже набросал кое-что.

— А имя выбрал? — снова улыбнулась Александра. — Фауст, Август...

— А ведь верно, — и он зашагал по комнате, глядя то в пол, то в потолок.

Наконец взгляд его упал на словарь итальянского языка. Он подошёл к столу и наугад развернул книгу:

— Antidoto... Антидото... Нет, пусть будет Антид Ото.

— Лекарство?

— Скорее, противоядие. Будем лечить ссыльную братию от яда анархизма, либерализма и пережитков народничества.

Дальше у молодожёнов завязался долгий разговор на тему господствующих направлений общественной мысли, пока ребёнок не проснулся и не напомнил о себе. И почему это дети просыпаются с плачем? Разве им снится что-то дурное? Тогда они занялись бытом. Новоявленный Антид Ото отправился за водой.

Он ещё раз окинул взглядом свою типичную сибирскую деревню — горстку убогих лачуг, в которой читать-то умеют единицы, а между тем его обуревали широкие литературные замыслы...

Утром, когда Аркаша спустился с верхней комнаты, на веранде была бабушка. Она готовила еду — нарезала овощи. Сразу принялась выспрашивать про работу, и внук вынужден был сознаться, что всё бросает и уезжает в Петербург.

— Ну что ж, — рассудила бабушка, — поезжай. Звони оттуда, рассказывай, как и что.

— Хорошо.

— И в церковь ходить не забывай, — назидательно сказала она.

Бабушка принимала большое участие в жизни ближайшей церкви, не пропускала воскресные и праздничные богослужения. Аркаша вспомнил, как однажды случайно проходил мимо этого храма и заглянул внутрь. Там шла литургия, какой-то особенный её момент, требовавший, чтобы все стояли на коленях. Вход находился не напротив алтаря, и все прихожане и прихожанки стояли к юноше боком. В одной из них он узнал бабушку. Бабушка заметила его и строго посмотрела из-под платка, подумав, наверное, что внук пришёл отвлекать её от молитв.

Вот и сейчас она говорила строго и серьёзно: — Хоть и далеко едешь, через всю страну, а в церковь ходи. Церкви и там есть, всё-таки Россия. Страна наша без христианства не держится, и вера Христова без России не стоит.

В такие минуты Аркаша, хоть и считал себя православным, чувствовал хулиганское настроение: хотелось острить, дерзить, спорить. Но он знал, что в разговоре с бабушкой свои мысли надо выражать очень коротко: больше двух-трёх фраз подряд она выслушивать не станет.

— Не потому ли произошло разделение церквей, что разные государства захотели присвоить Христа себе?

— Как раз наоборот это произошло. Это они сами от Бога истинного отвернулись, только церковь православная в России веру сохранила.

— Уж очень соблазнительно в политических целях объявлять всех иностранцев нехристями. Тем более тогда непонятно, кого проповедует православная церковь: не то Бога, не то нашего президента.

То ли бабушка не расслышала его слов, то ли не нашлась что ответить. Она махнула рукой с ножом в сторону огорода и сказала, что дед там и неплохо бы внуку пойти и пообщаться с ним.

Аркаша вышел на крыльцо. Весь участок был занят грядками. Дедушка больше любил деревья и мечтал о саде, а бабушка больше любила огород, и она была главней. Единственные два небольших деревца, ранетки, росли за домом. И дедушка как раз снимал с них урожай. Они поздоровались, и Аркаша стал помогать. Ему хотелось поговорить с дедом, но он не знал о чём. Дедушка всегда был молчалив и обычно не начинал разговаривать первым, в кругу семьи его реплики сразу прерывали его жена или дочь (Аркашина тётя) чем-нибудь пренебрежительным в духе: «Ага, щас», — или: «Ну, конечно». Пожалуй, по-настоящему Аркаша общался с дедушкой только в раннем детстве, когда дед учил его играть в шахматы. А в остальном... Аркаша знал, что дедушка раньше работал водителем электровоза и теперь ещё подрабатывает сторожем, что у него есть гараж, в котором он

хранит какой-то хлам и иногда что-то там перетаскивает. Да, ещё, кажется, он играл на балалайке. Эта музыка пробивалась к Аркаше откуда-то из глубины памяти, из самого детства. Сейчас дома у бабушки с дедушкой балалайки нет. Может, она хранится в гараже?

Хотя он почти ничего не знал про деда, Аркашу тянуло к нему, казалось, что дедушке есть что сказать ему.

— Привет, — сказал он и пожал сухую дедушкину руку.

— Привет, — ответил дед и придвинул ведро, чтобы внуку было удобнее.

Какое-то время работали молча.

— А что это ты писал, когда мы приехали? — спросил Аркаша.

— Да так, — ответил дедушка и только несколько ранеток спустя спросил: — Скажи, Аркадий, вот ты же пишешь что-то, сочиняешь?

(Дедушка произнёс «сочиня-ашь» — так говорили в его родных местах.)

Внук смущённо кивнул. Если бы дедушка попросил что-нибудь ему прочитать, то что бы предъявил ему Аркаша? «Я был белою ленточкой...»? Или дедушка бы понял?

— Но ведь для того, чтобы рассказывать другим, учить их жизни, надо самому в ней много повидать, узнать её хорошенько.

— Ты прав, конечно, но я ведь пишу для таких же, как я, для молодёжи своего поколения, у которой похожий опыт. Что-то я всё-таки повидал и пережил, этим и делюсь.

— Ну да... ну да... — проговорил дедушка и снова замолчал, а потом проговорил: — А ты читал классиков?

— Конечно! В университете мы всех проходили.

— Ну, проходить — это одно... Вот у Толстого хорошо написано.

Аркаша пошарил в памяти: а что он читал у Толстого? Нет, ничего не читал, побрезговал. Ведь Толстого отлучили от церкви, да и, говорят, с женой у него были нелады. А на экзамен они тогда Кириллу Мефодиевичу всей группой преподнесли какой-то редкий кофе, так что четвёрки он всем поставил без экзамена, и отвечать остались одни отличники.

— А бывает у тебя так, что берёшь перо, да призадуматься (призадума-ашья): как об этом писать, да и стоит ли? Зачем ворошить старые обиды?

Взял ведро и понёс в дом. Больше Аркаше и не удалось поговорить с ним. За столом ораторствовала бабушка, старая комсомолка. Кажется, Аркашин папа как-то сказал про неё, что она и в церковь верит, как в комсомол семидесятых. Аркаша не любил всё коммунистическое скопом и не интересовался, чем комсомол семидесятых отличался от комсомола каких-нибудь других лет.

А во второй половине дня они с отцом уехали.

Время до часа икс пронеслось быстро и суматошно, и вот уже Аркаша стоит вместе с Милой на перроне возле гостеприимно открытой двери вагона, а против них стоит небольшая горстка провожающих. И тут Аркаша понял, что эти люди и есть то единственное, с чем ему жалко прощаться. Пришли Настя, которую он чуть не поманил с собой, новый знакомый и пока неразгаданный Павел, поверившая в Аркашин талант готесса Маша и даже тот самый удивлённо-восторженный парнишка из зрительного зала, пришёл злобный-съедобный Саня. Пришёл и отец, и на этот раз его лицо было каким-то особенным, смягчившимся.

Сонечка, Жанна и Джон не пришли, и это было как три выстрела в спину. Он невольно до последнего искал их глазами в вокзальной толчее. С другой стороны, если бы они пришли, прощание ведь было бы тяжелее. А так они оттолкнули его, и он оттолкнул мысли о них, как отталкиваются веслом от берега.

Саня и Маша разыграли прямо на перроне небольшую шутовскую сценку, пародию на Аркашин

спектакль. Настя подарила напоследок Аркаше перевязанную белой ленточкой коробку, в которой не оказалось ничего. Снова двусмысленный подарок, который можно истолковать как угодно.

Проводник поторопил, все засуетились, и Аркаша впервые, смущённо и торопливо, обнял отца, не глядя пожал протянутые руки и помог Миле войти в вагон. Всё поплыло, побежало, отдалилось, отделённое грязным стеклом, стало чужим, мертвенно-бледным, как на старой фотографии.

Прощай, огромный, загромождённый автомобилями город, город магазинов, прощай, неразделённая любовь, прощай, равнодушие! Здравствуй, прекрасное далёко, где люди живут во дворцах и говорят только о высокой философии и классической литературе, где наверняка никто и слыхом не слыхивал о попсе и шансоне, где добродушные и мудрые рок-звёзды поют в каждом подъезде и зазывают прохожих к себе на чай, где ходят призраки Достоевского и Блока, где нет бизнеса и, может быть, есть сам Господь Бог.

Окончание следует